

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 25

1985



Нора АДАМЯН

УТРЕННИЕ ТЕНИ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 25

Нора АДАМЯН

УТРЕННИЕ ТЕНИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985

Нора АДАМЯН

Нора Георгиевна Адамян родилась в Одессе. Живет и работает в Москве.

Окончила Азербайджанский государственный университет. Была библиотекарем в Баку, культурником в санаториях Теберды. В качестве очеркиста русской газеты «Коммунист» в Армении Н. Адамян объездила республику, включая самые отдаленные ее уголки. Длительное время занималась переводами поэтических произведений с армянского на русский язык. Первые рассказы появились в «Огоньке» и «Новом мире» в 1953 году.

Член Союза писателей СССР с 1942 года.

Среди произведений Н. Адамян, вышедших в Москве в издательстве «Советский писатель», сборники рассказов и повестей «У синих гор» (1957), «Девушка из министерства» (1959), «Ноль три» (1963), романы «Вторая жена» (1967), «Красный свет» (1975), «Трое под одной крышей» (1981) и другие.

Многие произведения писательницы переведены на другие языки и изданы за границей.

УТРЕННИЕ ТЕНИ

Одной из ранних утренних электричек ко мне на дачу приехала добрая знакомая, женщина уже немолодая, но очень энергичная, обуреваемая жаждой всевозможных знаний. Она привезла с собой торт и чемоданчик, в котором определенно находились зубная щетка и ночная рубашка. Комнату я снимала с верандой, в запасе имелись две раскладушки, так что гостя меня не стеснила бы, и я ей обрадовалась.

— Оказывается, вас нетрудно отыскать. Со станции меня будто кто за руку вел! — ликовала моя приятельница, предвкушая время увлекательных и содержательных бесед.

Она считала, что общение со мной, редактором-театроведом, расширяет ее кругозор. Сведениями, почерпнутыми из наших разговоров, она потом поражала своих коллег — технарей из НИИ.

За ее абсолютное доверие к моим суждениям я прощала ей некоторую настырность и трудную необходимость долго объяснять то, что выразить одним словом не всегда удается.

Усадив гостью на веранде, служившей нам и столовой, я стала варить кофе на портативной газовой плитке и незаметно для себя начала излагать теорию о том, что театры, как и люди, тоже имеют свой возраст и предел, что многие из существующих театров уже прожили прекрасную жизнь и сейчас существуют только за счет прошлого, а другим досталась жизнь хоть и яркая, но короткая...

— А каким именно? — жадно допытывалась гостя.

Мне не хотелось уточнять то, что подразумевалось само собой. Тут меня выручила Лорка. Она появилась в пижаме, босая и, как всегда по утру, хмурая.

Когда имеешь сына-геолога, невестку-океанолога, мужа — театрального художника и все они на летние месяцы отправляются в экспедиции, круизы и на гастроли, то вполне естественно, что внучка остается на попечении бабушки, которая уже много лет пишет свою кандидатскую диссертацию.

— Лорочке исполнилось четыре года, и она давно умеет сама одеваться, — объявила я.

На эту примитивную лесть девочка не поддавалась. Она недружелюбно посмотрела на гостью большими серыми глазами.

— С добрым утром, милая детка! — проговорила моя приятельница тем проникновенным голосом, каким обычно говорят женщины, никогда не имевшие дела с детьми.

Лора отвела глаза в сторону.

— Одень меня! — приказала она.

Зная, что поступаю безвольно, но справедливо опасаясь осложнений, я отправилась одевать маленькую упря미를. При этом я пошла навстречу самым нахальным ее требованиям, начиная с полной смены белья и кончая новым длинным ситцевым платьем в оборках и прошвах.

— Ребенка оторвали от привычного уклада, и я как-то еще не сумела ввести ее в рамки, — разливая кофе, оправдывалась я.

— Ну что вы! Прелестное дитя!

Я и сама считала свою внучку прелестной, хотя изо всех сил старалась быть объективной.

— Она уже все буквы знает.

— Умница! — восхитилась гостья.

Умница не дала нам больше и словом перекинуться.

— Налей на блюде! Нарезь «солдатиками»! — то и дело требовала она.

Я послушно резала бутерброд на маленькие кусочки, выстраивала их в ряд и по одному, с прибаутками подносила девочке: «Вот идет, идет и не знает, куда попадет»...

— Ко мне в рот! — визжала довольная Лора.

От каши она наотрез отказалась.

— Кто не ест каши, тот не получит сладкого торта, — назидательно сказала гостья.

Намерения у нее были самые добрые: она хотела помочь мне правильно воспитывать внучку.

— Тортов я вообще не люблю, потому что они кремовые, — ответила Лора. — А черешню ты привезла?

— В лес, в лес, гулять! — заторопилась я, заметив растерянность своей приятельницы.

Лес начинался у самой калитки. Смешанный, подмосковный, полный истинных ценностей: черники, земляники, грибов, хвороста для растопки печи, сосновых шишек для самовара... Здесь жили белки, которые умели летать с дерева на дерево. А один раз перед нами по дорожке пробежал, сердито фыркая, большой еж.

В таком живом лесу нелепо было разговаривать о театре, пропахшем клеєм и красками декораций, звучащем пышными, хорошо поставленными голосами актеров и мяукающими интонациями актрис. Но мы наперекор солнцу, деревьям и травам говорили о решительных Гамлетах и добрых Иоаннах Грозных, которых вопреки создавшим их драматургам тчатся представить нам современные режиссеры.

За невнимание к своей прелести лес вначале предупредил нас, а потом и наказал. Сперва Лора нашла белый гриб-колюсовик, о чем оповестила мир радостным воплем. Это был ее способ приветствовать всякую сыроежку, и поэтому я не сразу отозвалась и ахнула только тогда, когда девочка безжалостно оторвала большую коричневую шляпку от пузатой ножки. Потом моя внучка облюбовала сухую ветку березы и поволокла ее за собой по всем лесным кочкам. А на ветке висела большая серая груша — осиное гнездо. Полосатые гудящие пули заматались над кудрявой головой Лоры. Моя гостья не нашла ничего лучшего, как отгонять их, размахивая руками. Осы совсем разгневались, и тогда я сорвала с плеч своей приятельницы тонкую шерстяную кофточку, закутала ею Лорину голову и, схватив ребенка на руки, побежала к дому, не разбирая тропинок. За мной, спотыкаясь и едва поспевая на высоких каблуках, торопилась гостья, ужаленная в руку и в спину.

— Почему ты их не растопчила? — тяжело всхлипывая, негодовала Лора. — Их надо было растопчить!

— А ты зачем ветку взяла? Я тебе говорила: не бери! Там их домик был.

— Весь домик надо было растопчить!

— У них там детки были.

— У осов не бывает деток. Они злые.

Перед самым домом, еще всхлипывая, Лорка потребовала:

— Вот мы придем, и все будут спрашивать: «Что случилось, что случилось?» А ты скажи: мы такие страшные вещи не можем рассказывать...

Навстречу нам из калитки уже шел тесть хозяина дома, Иван Харитонович. Объяснять ему ничего не пришлось. Он взял у меня из рук Лору и размотал кофточку.

— Ишь, какие шишки надулись. Ну, пойдем, пойдем, сейчас бабка тебя полечит. Как же так за дитем недосмотреть?

— Мы разговаривали, — виновато оправдывалась я.

— Интеллигенция, — ворчал дед.

— А это опасно? — горестно спросила гостья, указывая на свою вздувшуюся руку.

— Ничего не будет, — хмуро ответил дед. — Вот плохо, что дите в голову покусали.

Он понес Лору в глубь участка, где ютилась его сторожка, оборудованная под жилье. Там, под стать деду, маленькая, сухонькая старушка, неодобрительно качая головой, перебрала Лоркины волосы и вытащила из них двух полуживых ос. Потом она нащипала листьев подорожника, растолкла их, приложила к вздувшимся на голове шишкам и обмотала все это большим лопухом.

— Спать не давайте. Пуцай побегает.

— А я днем не сплю, — откликнулась Лорка. — Даже в детском саду не сплю.

Гостья подорожником лечиться отказалась:

— Я думаю, это негигиенично. Не найдется ли у вас капельки спирта на примочку?

— Еще спирт на это переводить! — неодобрительно буркнул дед.

Мы пошли к себе, и я, чувствуя за собой вину, стала делать ей примочки из одеколона.

— Если бы вы не сорвали с меня кофточку... — обиженно упрекнула она меня.

— А ты руками не махала бы, — объявила внезапно возникшая Лорка. — Дедушка сказал, что сама виновата, руками нельзя...

Карман ее нового платья был набит мелкими черными семечками, которые она ела вместе со скорлупой. Отнять у нее семечки после перенесенной травмы было невозможно, и мне пришлось ногтями извлекать из них ядрышки. Дело это тянулось долго.

— Дай ты наконец бабушке покой! — попыталась заступиться за меня моя знакомая. Устав от этого бестолкового дня, отравленная осинными укусами, одурманенная лесным воздухом, она в забывчивости повторила свою угрозу: — Девочки, которые так себя ведут, не получат торта.

Лорка вытащила из холодильника еще не развязанную коробку.

— Съешь сама свой торт!

Я шлепнула девочку, она разревелась, а гостья вдруг вспомнила, что вечером ей должны позвонить по важному делу. На прощание она сказала с грустным недоумением:

— Никогда не думала, что один ребенок может так перевернуть мировоззрение умной женщины...

Вечерами в небольшом доме среди леса всегда грустно и одиноко.

Лора по обыкновению долго не желала ложиться спать, а когда наконец улеглась и я села за работу, она каждую минуту стала требовать меня к себе: «Принеси мне водички попить», «Укрой меня со всех сторон», «Задвинь занавеску, боюсь, осонька залетит».

— Ты дашь мне покоя или нет! — вконец раздраженная, крикнула я. — Весь день сегодня вела себя, как последняя дрянь. Человек не имеет права так обижать другого человека, как ты обидела нашу гостью. Человек не должен мучить другого, как ты меня мучаешь...

Она вдруг надолго замолчала. Потом раздался тихий голос:

— Если хочешь знать, я еще не человек.

— А кто же ты?

— Бабушка сказала: я еще младенец. Мне до семи лет все грехи прощаются.

— Никакой ты не младенец. Я тебе точно говорю, что ты уже человек. И должна отвечать за свои поступки. Ничего тебе не прощается.

Взять внучку на лето я согласилась охотно. Мне казалось, что после первых дней привыкания сложности сотрутся и начнется привычный быт с нормальными трудностями. Но не тут-то было. Спокойной жизни не получалось. Каждый день начинался и кончался проблемами. Утреннее пробуждение, умывание, кормление, приготовление ко сну — все это ежедневно осваивалось заново. То и дело возникали новые осложнения. Кошмаром висели надо мной почему-то жизненно необходимые Лоре «отлипки» — так она называла обувь без задников — сабо. Пришлось отрезать пяточки от сандалий и от новых красных туфель. В результате девочка осталась без обуви и ходила по лесу в осенних сапожках.

Иногда меня ставили в тупик ее невыполнимые требования.

В гости к нашим ближайшим соседям приехали родственники с девочкой лет семи, у которой были заплетенные над ушками и свисающие на грудь косы. Лорка восторженно вертелась вокруг гостий, заинтересованно рассматривала косы и немедленно потребовала такие же себе. Она орала два часа без передышки, не вникая никаким доводам. Перед этим страстным желанием я была бессильна.

И опять выручила бабушка. Она раскрутила толстую пеньковую веревку, сплела из нее две косы и привязала их к шпагату, которым окутила Лоркину голову. Косматые серые косы, увенчанные бантами из лоскутков кумача, привели мою внучку в восторг. Лора весь день гляделась в зеркало, зачарованная своим изображением, и не соглашалась снять косы даже на ночь. Я принесла в дар бабушке пачку индийского чая «со слонем», восхваляя ее понимание детской души.

— Конечно, можно и потакать, — ответила она мне, — потакать-то — оно спокойней. А можно и другим манером — надавать по заднице. Тоже бывает на пользу.

Где там! Я ее и в угол поставить не могла. Она не желала там стоять. Сразу выскакивала на середину комнаты и принималась танцевать свой любимый танец «хоботного слона».

Я осознала свою педагогическую беспомощность и думала о целесообразности больших семей, где растет несколько ребятишек, о пользе наказаний. Но каких? Наконец решила, что ребенку нехорошо все время находиться среди взрослых и надо создать ему среду. Для общения с Лорой я решила пригласить мальчика Коку

Его родители жили недалеко от нас. Мальчик был на полгода моложе Лорки. Желая подготовить почву, я старательно расхваливала умного, послушного Кокочку.

Он явился в вышитом джинсовом комбинезоне, доброжелательный, воспитанный, с пухлыми щечками и глазами-щелочками. А его мама принесла огромный букет жасмина и баночку первой в этом году красной смородины из своего сада. Мне не хотелось обмануть ее добрые ожидания, и я для первого знакомства стала угощать детей

копченой колбасой, конфетами и печеньем. Кока ел с удовольствием, выпил стакан молока. После чего и Лорка потребовала молока, которого никогда по своей охоте не пила. Я сочла это за добрый знак.

Мы оставили детей в комнате с игрушками, книжками и цветными фломастерами.

— Пусть сами выясняют отношения, — сказала молодая мама. — У меня небольшая стирка, я закончу ее и приду за Кокой. Вы их не трогайте, сидите себе на веранде и работайте.

— А если возникнет конфликт?

— Сами разберутся. Подерутся — помирятся.

Я позавидовала ее хладнокровию, но все же решила следить за детьми в полуоткрытую дверь.

Лора села на коврик и растопырила руки, загородив все игрушки. Кока потянулся за большим мячом.

— Это мой! — строго объявила Лора и отобрала мяч.

А ведь не любила игрушек, больше бегала по лесу и саду.

— Покажи Коке паровозик с вагонами.

— У вагона колесо оторвалось.

— А Кокочка починит. Мальчики умеют чинить. Умеешь, Кокочка?

— Я умею. Я у мамы все починаю. Она ломает, а я починаю.

— А игрушки ты любишь?

— Я кукол не люблю. У меня машины есть всех марок. И рояль игрушечный. Я на нем сонатину играю.

Надо же — сонатину! Я позавидовала.

— А ты дашь Лорочке поиграть на рояле?

— Дам. Я всем позволяю своими игрушками играть.

— Видишь, какой Кокочка добрый... А ты...

Гневно поджав губы, Лорка выбросила на середину комнаты старую собаку из пенопласта.

— Я такие тоже не люблю, — вздохнул Кока, — я рисовать люблю...

Лора стремительно сорвалась с места:

— Не трожь! Это мои фломастеры!

Я положила перед Кокой два своих фломастера — красный и черный, дала ему несколько листов бумаги, закрыла дверь и попыталась работать. Что-то уже и начало получаться, когда я почувствовала, что меня дергают за платье. Это был Кока.

— Тетя, я хочу домой...

— Почему?

— Ваша девочка нехорошие слова говорит.

— Какие?

— Неприличные. Которые стыдно сказать.

— Не может быть!

— Она говорит: «Собачка стала плакать и сказала: как я теперь буду...» Разве так можно?

Я кинулась в комнату. Лора, сидя на коврике, разбрасывала во все стороны игрушки и весело орала: «Укусила пчелка собачку...»

— Лорка, это еще что такое?

Она посмотрела на меня притворно невинными глазами:

— Дедушка так поет.

На веранде захлопнулась дверь. Маленький воспитанный Кока покидал нас. Я побежала за ним по лесной дорожке и только махнула рукой на вопросы его мамы, выбежавшей нам навстречу.

Дома Лора не дала мне и слова сказать. Она топала ногами, яростно повторяя:

— Ваша Кокочка дура! Дура ваша Кокочка!

Такой ли я представляла себе свою внучку?

Может быть, она вообще нелюдимое, неконтактное существо? Но ведь как быстро и легко она завязала отношения с дедом и бабкой! В первый же день нашего приезда я, потеряв ее из виду, избегалась по участку и ближнему лесу, пока из самой глубины сада не показался тесть нашего хозяина.

— Ну, что надрываетесь? Куда она денется? Сидит с моей старухой, чай гоняют.

Все-таки зря я с самого начала допустила это общение. Теперь придется решительно поговорить с дедом. Кто знает, чего она еще там наслушается. Только надо это сделать как-нибудь потактичнее.

Лорка по нескольку раз в день наведывалась к ним в сторожку. Там ее кормили соленой рыбой, пирогами с зеленым луком, оладьями.

— Ты опять у бабушки обедала? — спрашивала я, видя, как отвергается стерильно изготовленная мною телячья котлета. — И что ты там ела?

— Тюрю с квасом. Бабушка туда чесночку натолкла — вкусно! Колбаской пахнет!

При встрече со мной бабушка как бы извинялась:

— Вы уж не обижайтесь, когда ребенок с нами в охотку покушает. У нас пища простая, легкая, вреда от нее не будет.

Лору они кормили, а с зятем своим питались отдельно. И не по его вине. Он уговаривал их перейти на его харчи — просил, и стыдил, и сердился. Его жена, дочь стариков, где-то работала и приезжала только на выходные дни.

— Ты хоть подумай, что я четыре дня на неделе всухомятку питаюсь, — укорял Никита Васильевич тестя.

— Да старуха тебе завсегда тарелку щей нальет, — отвечал тот. — Обедай хоть каждый день — гостем будешь. Пол-литру поставишь — хозяином будешь. А твоего куска я не ел и есть не желаю, хотя право имею. Немало я на тебя побатрачил.

Никита Васильевич уходил расстроенный.

— Старику цены бы не было, — говорил он мне. — Вот этот дом, где вы проживаете, можно сказать, он один поставил. И кролям

клетки, и парники, и сарай — все его рук дело. Я же признаю. Только гордый очень и рюмочкой балуется. В его-то года!

— А ты помолчи, скопидомок,— беззлбно отзывался дед.— Ты вот ничем не балуешься. Земле часок отдохнуть не даешь. Все копаешься, как червяк.

Огромного трудолюбия человек был Никита Васильевич. Поднимался на заре и все охаживал свои яблони и клубничные грядки. На тачке возил торф с лесного болота, лопатил компостные ямы. Прямыми аллеями стояли у него кусты смородины, поражая крупными, как виноград, ягодами. Выверенные словно по линейке, тянулись клубничные гряды с особыми сортами, среди которых был ананасный, тщательно оберегаемый хозяином.

Я понимала, как должен был взволноваться этот труженик, когда в его владениях появилось такое существо, как моя Лора. В пору поспевания ягод я случайно услышала его разговор с моей внучкой.

— Ты, девочка, сама ничего не рви,— почти заискивая перед ней, просил он.— Ты лишь только скажи: «Дядя, дай ягоду»,— я тебе никогда не откажу. Ты только сама с кустика ничего не трогай.

Я покупала у него ягоды по самым дорогим рыночным ценам. Но они этого стоили. Никита Васильевич отпускал мне отборный товар и каждый раз оформлял покупку букетиком душистого горошка или желтых ноготков. Лора в виде премии получала неслыханно большую клубничину багрового цвета и причудливой формы.

Никита Васильевич протягивал ей ягоду со своим обычным присловьем:

— Видишь, какая зверюга вымахала. Кушай ее не здоровье.

Лора мчалась ко мне с криком:

— Смотри, какую я тебе зверюгу принесла!

«Зверюгу» съедала я. Лора клубнику не любила. Она предпочитала черешню или чернику, которая ковром стелилась у нашей калитки и уже начинала поспевать.

Поэтому, взглянув как-то в окно веранды, я удивилась, завидев Лорку среди грядок ананасной клубники.

Она замерла, опустившись на корточки и пригнувшись к кустику с бледно-янтарными ягодами. Я оглянулась: из-за сарая за девочкой, вытанув шею, осторожно подглядывал Никита Васильевич.

Я тоже оцепенела. Мне не хотелось, чтобы он меня увидел, и еще больше не хотелось, чтобы Лора тронула клубнику.

Так на несколько мгновений мы трое тонно застыли в «стоп-кадре». Даже звуки летнего дня, казалось, исчезли, и ветер улегся, словно чего то ожидая.

И вдруг над Лориной головой взвились и заплясали в воздухе две крупные бабочки. Подняв к ним лицо, Лора сказала сама себе с глубоким вздохом:

— Ой какие... черные... красивые...

Никита Васильевич сразу задвинулся, захолопотал, покатил тачку в глубь сада. Я перевела дух и опустила занавеску, а Лора помчалась за бабочками, восторженно выкрикивая:

— Черные, красивые, черные!..

А дед откуда-то отвечал:

— Они, бабочки, всякие бывают. Белая, к примеру, капустницей называется, а черная — махаона.

И тогда я подумала: не буду ничего ему говорить. Дурацкая песня скоро забудется, а это общение с природой, познание мира, может быть, ценнее.

Но иногда это общение с природой приводило меня в смятение.

Неусыпной заботой деда были кролики. Лора постоянно крутилась около клеток.

— Уже родились, — сообщала она мне, — много. Дедушка сказал: пес с ними, пусть лезут. Подрастут — сосчитаем.

— Как родились? — глупо спрашивала я.

— Ну, обыкновенно, — спокойно поясняла Лора, — пойдем, сама увидишь.

Она появлялась из глубины сада почти всегда с каким-нибудь важным сообщением или открытием.

— Бабушка сказала: «Святой Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок»... — И с глубоким прерывистым вздохом: — Ждешь, ждешь этого лета, а оно уже с горки покатилося... — Или, запыхавшись, кричала, взбираясь на крыльцо: — Скорей, скорей, корми меня, мы с дедушкой в Абрамцию идем за комбикормом...

Всегда радость, возбуждение, предвкушение...

Поэтому я удивилась, когда однажды ясным утром, едва вырвавшись из моих рук после умывания, одевания и завтрака, она очень скоро возвратилась — молчаливая, сосредоточенная.

Сперва я не обратила внимания на это необычное состояние своей девочки, но когда она тихо села на скамеечку и просидела неподвижно несколько минут, я спросила:

— У тебя что-нибудь болит?

Она посмотрела на меня тоскливо и растерянно.

— Что с тобой, детка?

— Дедушка кролика сбил.

Я не поняла: как сбил?

— Взял за ножки и сбил головкой о дерево. Кролик кричал: ай, ай, ай! У него из носика кровь пошла...

Она рассказывала спокойно, будто недоумевая.

— Дедушка его ножом из шкурки вынул и сказал: «Вот и жарковье и воротник». А потом стал кролику живот разрезать...

Снова с горечью я почувствовала свою беспомощность и жалость к ребенку.

— Лорочка, пойдем с тобой в лес. Посмотри, у нас цветы совсем завяли. Новый букет наберем. Может, грибочков найдем. Соберайся, дорогая моя.

Небывало покорно она дала мне руку.

«Забудет! — подумала я. — Дети забывчивы. У них каждый день новые впечатления».

Наверное, забыла. Бегала по лесу веселая, танцевала. Дома мы варили рисовую кашу и кисель из красной смородины, которой бабушка тайком от зятя наполняла кармашки Лоркиного фартука.

Весь день я старалась удержать ее от общения с дедом. А вечером, когда, выдав мне обычную порцию капризов, она наконец крепко заснула, я, набравшись мужества, пошла в дедову сторожку.

Сразу у дверей меня обдало запахом сухих грибов, которые во множестве были натканы на деревянные гвозди, всаженные в доски. Еще пахло черными сухарями и фруктовым брожением от бутылей с настойками. В сторожке было тесно, душно и очень уютно. Дед за столом пил чай.

Я встала у двери и долго искала первую фразу.

— Спасибо вам и бабушке за Лорочку,— сказала я,— спасибо за то, что вы ей уделяете столько времени и заботы, учите ее, кормите...

Это мое вступление никого не обмануло. В нем звучало нечто драматическое. Дед помрачнел, а бабушка тревожно поглядывала то на меня, то на него.

Потом я сказала, что дети слишком ранимы, что им не все следует видеть и слышать, что они еще не могут воспринять иногда необходимую жестокость жизни, что их надо оберегать, подготавливать постепенно, что, чем выше чей-то авторитет в глазах ребенка, тем больше ответственности возлагается на данного человека. И потом... есть некоторые выражения... Песни...

Доводы мои иссякли.

Долго все молчали. Дед выжидал. Потом, когда тишина ощутимо затянулась, он негромко, буднично сказал:

— Садитесь к столу, что ж у двери-то стоять.

С бесшумной быстротой бабушка поставила передо мной чашку бледно-золотистого напитка и скорее прошелестела, чем сказала:

— Липовый цвет. Для сердца хорошо. Кушайте, пожалуйста.

А дед, прочистив голос, заговорил со мной совсем иначе, чем всегда, — внушительно, почти торжественно:

— Если уж у нас такой разговор пошел, я вам по всем пунктам отвечу. Первое: насчет песни. Это, если хотите знать, обыкновенная детская шутейная песенка. В ней не то чтобы матерного, а даже черного слова нету. И она никакому ребенку во вред не идет. У меня, слава богу, свои дети выросли, и все в люди вышли. Всех воспитал, народ на них не обижается. И когда вы свою девочку, к примеру, в субботу на электричке везете, то она еще не такие слова слышит и на станции и в вагоне. Вы ее от этого не убережете, раз уж в мир пустили. И по второму пункту... Вот она к нам прибежала: «Я человек! Я уже человек!» Это вы ей внушение делаете. Я соглашаюсь. Она ребенок острого ума.

— Утешная деточка,— тихо поддакнула бабка.

— Не потому, что я вам польстить хочу. Она в свои года уже людям верную цену определяет. Зятя-то моего не очень жалует. Ну, я это так, к слову. А только, если вы ее человеком считаете, так в тряпочку не заворачивайте, жизнь ей не заслоняйте. А то был у нас тут один ребенок и постарше вашей. У вас, говорит, на всех деревьях яблочки растут, а где булочки растут? Я таких детей не уважаю и родителей их не уважаю.

— Насчет кроля я тебе говорила,— выдохнула бабушка.

— Ну и что? — рассердился дед.— Она этих кролей кормила, ухаживала за ними. Она должна знать, для чего они предназначены. В чем их оборот жизни состоит.

— Так ведь жалко ей...

— И мне, может, жалко. А за стол все садимся. Пущай знает, что ест. Голову ребенку задуривать не надо. Сказка есть сказка. А жизнь — это есть жизнь.

Я ушла, сбитая со своих твердых позиций, ни в чем теперь не уверенная.

Утро наступило серенькое, дождливое. Лорка печально вздыхала:

— Знала я еще вчера, что дождь пойдет.

— Откуда ты это знала?

— Ноготки все позакрывались и головки опустили. Птички низко летали, роса вечерняя не выпала...— потрясала она меня своими познаниями.— И теперь долго дождь будет. Пузыри по лужам не дуются. Тучи не ходят. Обложной дождь. Что я делать буду?

Я налила в тазик теплой воды, дала ей кусок мыла. Она занялась стиркой и с удовольствием стала ругать куклу:

— Вот вывозилась, вот вывозилась, сволочь такая... Свинья настоящая, грязнуха окаянная...

— Лорка, что это за слова?

— Человеческие слова, все так говорят.

— Но я же так не говорю!

— Потому что ты — тилигенция.

На каких весах взвесить хорошее и дурное?

К обеду я принесла ей тарелку супа. В супе лежала цыплячья ножка. Потом я пошла за киселем и когда вернулась, то увидела, что девочка неотрывно смотрит в тарелку. Как только я вошла, она перевела на меня широко раскрытые глаза.

— Это вы тоже из кроликов делаете? — спросила она, указывая пальцем на куриную ногу.— Из живых кроликов, да?

Она обращалась не ко мне. Меня она называла на «ты». Она спрашивала человечество.

НА КАРТОШКЕ

Василию Васильевичу опять пришлось ехать в колхоз на уборку картошки. На этот раз ему это было совсем не с руки. Он только что подготовил несколько экспериментов, которые должны были во всех вариантах прояснить его очередную работу.

— Придется ехать, — сказал ему шеф.

Василий Васильевич повторил и уточнил:

— Придется. Стрекотова в декрете, Николаеву возраст не позволяет, у Малышева дети малые. У всех причины. А я единственный одинокий и свободный. Это мне уже не впервой слышать.

Шеф вздохнул.

— Вот я и говорю. Придется. Хотя лично мне не хотелось бы вас посылать.

Как будто Василий Васильевич рвался в колхоз убирать картошку.

Собирался он, как всегда, легко. Стянул с антресолей рюкзак, уложил в него кроссовки, тренировочный костюм, пару чистого белья. Отобрал несколько книг, общую тетрадь. Еды не надо. В колхозе сразу, как приедешь, кормят. А самое вкусное — картошка, она там под ногами.

Он вышел на лестничную клетку и позвонил в дверь соседской квартиры.

— Тетя Таня, я завтра дней на десять уезжаю. Вот ключик от почтового ящика. Уж, пожалуйста, как всегда...

Тетя Таня влезла в его маленькую переднюю и с интересом заглянула в комнату.

— Обратнo чистота, как у девки, — одобрительно сказала она. — Однако голо живешь. Тюлю бы на окно повесить, картинку на стену. А то, хочешь, я тебе на рынке цветочков бумажных куплю. Розочки как живые.

— Не надо мне розочек.

Вставать надо было рано, когда дворники шваркали метлами по пустым тротуарам и, как огромная сороконожка, лениво двигалась по улице поливочная цистерна.

Только вокзал уже жил своей разноликой, кошелочной, чемоданной жизнью. Издалека, по запутанным сплетениям рельсов, подкатывали к платформам пустые поезда, еще можно было войти в любой вагон и выбрать место у окна на теневой стороне, лицом по ходу поезда.

Глядя в окно, Василий Васильевич примечал и своих попутчиков. Две скамейки, ближние к выходу, заняли ребята с рюкзаками, с гитарой и транзистором. Как только тронулась электричка, они начали есть. Котлеты, пирожки, бутерброды — хорошую домашнюю еду доставала из рюкзака черноволосая девушка. Такие компании были хорошо знакомы Василию Васильевичу и по детскому дому, где

он вырос, и по институту, и по работе. Он предпочел бы наблюдать за семьей, чтобы были отец, мать, дети — их отношения, их обиход. Этого он не знал. И хотелось ему найти образец для своей будущей семьи. К этому следовало подготовиться серьезно. Он хотел быть авторитетом для жены и детей, но без подавления их личности. Задача сложная.

В группе, сидевшей у входа с транзистором, он разобрался в несколько минут. Главварь у них блондин с усиками. Звать Вениамином. Толстый парень с транзистором — это Валера, — недовольный, насупленный. Третий всю дорогу читает — даже за едой от книги не отрывается. Девушка славная, не очень молоденькая, веселая. Много смеется. А едут они тоже куда-нибудь «на картошку».

Девушка деловито раздавала пирожки и бутерброды, аккуратно завернутые в бумажные салфетки. Василию Васильевичу очень захотелось есть, да и когда еще придется позавтракать. Он пересел на край скамейки напротив девушки и негромко сказал:

— А мне?

Она ничуть не удивилась. С ходу углубилась в рюкзак и выдала Василию Васильевичу пирожок и бутерброд с сыром. Никто из группы не обратил на это внимания, и Василий Васильевич с удовольствием поел. Потом он спросил:

— На картошку?

— На нее, кормилицу, — сказал блондин, — куда же еще?

— В Рябиновку?

— Нет, в Угловое.

— Жаль, — вздохнул Василий Васильевич, — я надеялся вместе.

Ему никто не ответил. Девушка локтем отвела рассыпавшиеся по щекам и лбу пряди волос и завязала рюкзак.

— Студент? — спросил толстый.

— Студенты десятками ездят, — не поднимая глаз от книги, высказался чернявый. — Не учуял коллегу. Типичный лаборант.

— А может, аспирант, вроде тебя, Венечка? — заигрывающе спросила девушка парня с усиками.

— Нет, на аспиранта не тянет.

Так они переговаривались, а Василий Васильевич посмеивался.

Он зря своего звания не открывал. Ну, кандидат. Ну и что? Сейчас куда ни кинь, в кандидата попадешь. Он своим кандидатством в душе сильно гордился. Но не выставлялся.

Объявили Рябиновку.

— Прощай, студент, — сказал блондин с усиками. — Жаль, песен не попели вместе. Голос имеешь?

— Чего нет, того нет, — развел руками Василий Васильевич.

— А что вообще у тебя есть?

— Да ничего у меня нет, — обескураживающе просто ответил хитрый Василий Васильевич. — Ну, спасибо за кормежку, прощайте и желаю вам...

Картофельное поле лежало на косогоре — вначале довольно крутом, но постепенно полого спускавшемся к шоссе на дороге.

Парень лет шестнадцати привез Василия Васильевича на бричке, вошел с ним в большой чистый сарай с врезанными окнами, показал закуток с лопатами и мешками, груду полосатых чехлов для тюфяков и подушек. Кнутом ткнул в сторону лужка, где высилась копна сена для набивки. Заготовлено было все по-хозяйски — и легкая печка под навесом, и дрова, и посуда. На первый случай Василию Васильевичу выдали хлеба, немного масла и десяток яиц. В колхозе напоили молоком и простоквашей.

Председатель Вячеслав Петрович, еще молодой, но располневший, обожженный до помидорной красноты, скользнул взглядом и определил:

— Вот и ладно. Вы вроде человек солидный, будете там за старшего. А я днями наведуясь. Если что понадобится — всегда сделаем.

Ни на поле, ни в сарае людей не было.

— Что ж, я один здесь буду? — спросил Василий Васильевич, когда парнишка собрался уезжать.

— Как можно! Самое позднее утром придут. А вы не бойтесь, что один. У нас хоть и лес, а волков нет.

Василий Васильевич оглядел большое картофельное поле, над которым на взгорье темнел спокойный лес. Он сбросил рюкзак и поднялся к опушке, где стояли ласковые березы. Одна из них, вдруг затрепетав ветвями, сразу указала гостю кучку коричневых головок, прижатых друг к другу. Замерев от охотничьего счастья, Василий Васильевич набрал штук двадцать крепких белых грибов. Он по-хозяйски решил, что пока хватит, сложил грибы в большую кастрюлю, укрыл листьями лопуха, поставил в тенечек под печку и пошел оглядывать хозяйство. Отдыхать ему было не с чего, читать не хотелось, а дел нашлось много. Он перетащил все чехлы к копешке сена, набил матрац и подушки, расположил их в сарае по обе стороны окон, вычистил большой чайник и две кастрюли, потер песком зажелтые от заварки толстые фаянсовые кружки. Теперь, когда бы ребята ни приехали, можно было сразу начинать работу. Лопаты оказались тупые, но точить лопаты Василий Васильевич не стал. Работа у него была тонкая, и он берег пальцы от возможных травм.

День подошел к концу, и в неярком светлом небе задрожала одна еле заметная звездочка.

«Звезда моих полей, звезда моей печали», — прозвучало в сердце Василия Васильевича. Он не знал, откуда эта строчка, даже был уверен, что запомнил ее неверно, но чудесной болью отзывались в нем эти слова и он повторял их, все время переделывая: «Звезда моей любви, звезда моей печали»... «Звезда родных небес»...

А лес тем временем все больше темнел, картофельное поле становилось густо-лиловым, исчезало из глаз, и светлела только лента дороги, уходящая к шоссе.

Потом Василий Васильевич растопил печку, поставил чайник и смотрел, как неземным цветом перемигивались в печке угольки.

Перед сном он думал, что в жизни его ждет много неизведанного, что у него будут дети и спокойная, ласковая жена, похожая на доктора Белянчикову из передачи «Здоровье». Он не любил шумных, инициативных женщин. Та, что была в поезде, слишком громко смеялась. Зубы у нее были белые, ровные и хорошая, пышная коса. А как ее звали, он запомнил. Ее звали Дина.

Дина сама вызвалась ехать на уборку картошки. Специальная библиотека, где она работала, обслуживала в основном научные институты. В одном из них обрадовались возможности заполучить работника для поездки в колхоз. А у Дины была своя цель. Ей нужен был ребенок. Недавно она услышала мамины слова: «Я прихожу в отчаяние, когда думаю, что после меня она каждый день будет возвращаться с работы одна в пустую квартиру»...

Мама права. Впереди ждет одиночество. Скоро тридцать лет. В прошлом горькая, безрадостная любовь к женатому человеку. Алых парусов не будет. Нужен ребенок — родной человек на всю жизнь. От молодого здорового мужчины. И чтобы без всяких душевных потрясений, без всяких обязательств с обеих сторон. Встретятся и расстанутся навсегда.

Поехала она с читателями — абонентами своей библиотеки. Едва знакомые. Так лучше.

Сперва получилась неразбериха. Их направили в Угловое, но там уже работали две студенческие бригады. Пришлось переночевать в доме колхозника, а с зарей следующего дня все они на стареньком грузовике поехали в Рябиновку. И тут неожиданно, прямо на поле, их ждал большой кипящий чайник, кастрюля рассыпчатой картошки, сковорода с жареными грибами и то ли студент, то ли лаборант, с которым они ехали в поезде.

Все ему обрадовались.

— Точно отца родного повстречали, — сказал Вениамин. — А ведь мы о тебе, студент, жалели.

— Гляди, какой хозяйственный! — одобрил толстый Валерка. — Грибы-то где взял? В лесу? Ты их хорошо понимаешь? А то я остерегаюсь...

— Ах, разгадал ты меня, — засмеялся Василий Васильевич. — А я-то поганок нажарил, дай, себе думаю, поотравляю бригаду, вся картошка мне одному останется.

— Ты не шути, не шути! Бывали случаи... в газетах писали...

— Ладно, успокойся,— сказал Василий Васильевич,— тут одни белые.

— Грибы грибами,— перебил Вениамин.— А насчет воды как? Есть что-нибудь для радости — речка, озеро?

— Речка в километре отсюда, вы ее проезжали. А у леса родничок, вода чистая, хорошая, далеко ходить не надо.

— Да, не очень искупаешься — за километр бегать. Что за отдых без купания.

— Да нас сюда как будто не для отдыха прислали,— весело сказала Дина.

Василию Васильевичу эти слова понравились. Он поддержал:

— Отдыхать особенно не придется. Вот поле нам определили. Все убрать надо.

Черненый книгочей Николай прошелся по самому косогору, где кусты картофеля были помельче и из-под них торчали оголенные синеватые клубеньки, выдрал два куста, плюнул и отошел. Тут же Валерка прицепился к нему:

— Ты чего на мою картошку плюешь?

— А с чего это она твоя?

— Может, я ее в магазине куплю и есть буду...

— Иди ты к черту!

— Нет, ты скажи, с чего ты тут расплевался?

— Скажу. Только не тебе, дураку, который ни черта не понимает.

— Ребята,— сказал Василий Васильевич,— что это мы с конфлик-та начинаем? Вон глядите, не стыдно, женщина нам лопаты тащит.

— Я закуток освобождаю, спать там буду...

— Руки в кровь натрешь этими лопатами,— злобно сказал Валерка.— В других колхозах междуурядьем трактор пускают и рукавицы дают, между прочим...

— И здесь рукавицы есть, брезентовые, только тяжелые очень,— сказала Дина.

Она уже сняла свое голубое платье и туфельки — была в потертых джинсах и кедах.

Василий Васильевич подошел к Николаю.

— Объясни толком, чем тебе картошка на косогоре не глянулась?

— А тем, что она сейчас куда не годится. Ее по косогору посадили. А потом ливень землю смыл. Подбить второй раз не удосужились. Открытые клубни росли плохо, позеленели. Считай, погибли. А сорт хороший.

Он спустился на ровное место, выдернул для показа куст, и все увидели большие плоские клубни, похожие на толстые синие олады.

— Один из лучших сортов — «синеглазка».

— А ты откуда все это знаешь?

Николай усмехнулся.

— Как-никак научный сотрудник. Селекционер.

— Ну, значит, так,— подытожил разговор Василий Васильевич.— Я предлагаю сначала вырыть всю эту несортную картошку по косогору и сложить ее отдельно. Нам все равно, как ее копать, а колхозу облегчение — сортировать не придется.

— Да, студент, с тобой не соскучишься. Ты просто начинен идеями,— насмешливо сказал Вениамин.— А впрочем, я не возражаю.

Толстый Валера встал над косогором с лопатой в руках.

— Господи,— сказал он с тоской,— ведь будет когда-нибудь это поле вскопано и картошка вся вырыта. Так почему бы это уже не оказалось сейчас?

Он воткнул лопату под первый кустик и выворотил ком земли. И Дина тут же присела на корточки, выбирая мелкие, неказистые картофелины.

Работать по косогору было труднее, чем в ровном поле. «Недаром еще предки утверждали: «не ходи по косогору — сапоги стопчешь»,— ворчал Вениамин. Дина готовно хохотала по поводу каждого его высказывания, но работала быстро, ловко, подгоняя медлительного Валеру.

Василий Васильевич ценил хорошую работу. Он любовался спорными движениями девушки, тем, как она просеивала в руках землю, не упуская ни одного клубенька. Вениамин тоже шел легко, поднимая пласты плотной, спекшейся на косогоре земли, но примерно через каждые двадцать минут объявлял перекур и ложился на взгорке, раскинув руки и ноги. Тут же бросали работу и Валера и Николай. Только Дина продолжала просеивать между руками землю, и Василий Васильевич по-прежнему подымал на лопату куст за кустом.

Обед привез тот же парнишка, который доставил на поле Василия Васильевича. Не заставляя себя упрашивать, он тут же со всеми вместе поел супа с бараниной, выпил литровую банку компота из сухофруктов и, довольнo поглаживая себя по тощему животу, сообщил:

— Это я уже по второму разу обедаю.

— И куда в тебя лезет? — рассмеялся Василий Васильевич.

— А я сколько хочешь могу съесть,— горделиво сказал Сережка.— Особенно если колбасы да сдобных булок. Хоть на спор пойдем.

— Ну, ты сила!

— Я такой,— подтвердил Сережка. И поинтересовался: — А вы чего только по горке роете?

— Выкапываем мелкую, чтобы с хорошей не мешать. Усек?

— Усек. Я еще там мясо присоленное на завтра привез, хлеба, крупы. Завтра сами готовить будете.

После обеда завалились отдыхать. Только Дина перебирала гречку для завтрашней каши, а Василий Васильевич, который не любил спать

днем, натаскал воды из родника, нащипал лучинок для растопки и объявил подъем. Вениамин лениво поднялся.

— Беспокойный ты человек, студент. Ну, чего шебуршишь? Куда торопишься?

— Работать надо.

— Где мне надо, там я вкальваю, будь здоров! А сюда нас посылают чужое разгильдяйство покрывать. Картошку эту мы, конечно, рано или поздно выкопаем. Но душу в эту бодягу я вкладывать не намерен.

— Однако берись за лопату,— сказал Василий Васильевич.— Ты, видать, не слышал, какая работа на свете самая главная?

— Ну?

— Та, которую надо сделать сегодня.

— Ох, студент, срываешь ты мне настроение. Не даешь с природой пообщаться в молчаливом созерцании.

На другой день приехал на желтом «жигуленке» председатель колхоза Вячеслав Петрович. Взглянув на поле, он сдвинул брови, потом назулыбался и пошел под навес к столу, где Дина уже расставляла суповые мисочки.

— Обедом накормите? А то я сегодня с утренней зари все езжу.

Дина не сплеховала. На закуску подала салат из тертой моркови, потом хороший суп и отварную баранину, густо посыпанную зеленью.

Вячеслав Петрович все это одобрил.

— Ну, а вообще как живете, товарищи ученые? Жалобы есть?

— Есть жалобы,— жестко сказал Вениамин.— Когда, наконец, колхозы за ум возьмутся, чтобы нам каждый год на помощь не ездить? Надоело уже. Мы же вас на помощь не зовем, а нам, может, потруднее бывает.

Председатель не обиделся.

— Правильно рассуждаешь. Однако мои колхозники не глупее тебя. Они тоже сейчас по институтам и университетам разбежались.

— Прямо! — засмеялся Валера.— Так уж все и разбежались. Плохо работаете, вот что! Вон сколько картошки на косогоре заporоли.

— Вот, кстати, напомнил.— Вячеслав Петрович сказал это с неестественной интонацией, как человек, не умеющий притворяться. А ведь он и приехал только ради этой картошки. Быстро пошел к развороченному косогору, усыпанному привядшей ботвой и выложенному кучками мелких зеленых клубеньков.

— Чего вы придумали, ребята? Для чего вы ее отдельно копаете? Это же потом нам двойная работа будет.

Василий Васильевич ожидал, что ответ возьмет на себя Николай. Но Николай даже отвернулся, точно его все это никак не касалось. Вениамин и вовсе откровенно смеялся. Тогда он понял, что отвечать приходится ему.

— Вы же сами видите, какая она на косогоре. Я, конечно, не специалист, но зачем же ее с хорошей мешать?

— Товарищи,— сказал председатель, прижав руку к сердцу,— верите, у нас тут такой ливень был, такой ураган небывалый, деревья в лесу валяло. А с косогора прямо река шла — землю смывало... Стихийное бедствие. Ничего не поделаешь. А мы эту картошку ранним сортом сдавать должны. Так что, копайте всю подряд.

— Что же вы ее по косогору еще хоть разок не подбили,— наконец вмешался Николай.

— Да где мне людей взять? — закричал председатель.— Я же говорю — стихия. Разве одно это поле пострадало? Да мы ее и не уважаем, «синеглазку» эту, попевает рано, лежит плохо, навязали нам ее селекционеры. Вот и сажаем в порядке опыта. У меня одна забота — сдать ее поскорее...

Он отдышался и снова заулыбался, откидывая пятерней со лба густые русые волосы.

— Так что вы, товарищи ученые, самодеятельность здесь не развивайте. Копайте все подряд. Не ваша это забота. А если есть другие претензии — к питанию или еще что, я готов выслушать и помочь. Сам в Тимирязевке учился...

— Мы хотели как лучше,— сказал Василий Васильевич.— А смешать ее легко. Только нечестно, по-моему, так делать.

— Ох, ох, не пугай ты меня, друг. Я уже пуганый. И не то слышал. Копайте, как сказано, под мою ответственность. Пусть вас совесть не тревожит.

У машины он обернулся:

— Спасибо за обед. Между прочим, если обратили внимание, мы вас свежей бараниной кормим, молоком парным. Ничего не жалеем.

Желтая пыль пошла по дороге.

— Ну и к чему ты вылез, студент? — спросил Вениамин.— Восстановил его против нас, и только.

— За эти полторы тонны картофеля ты его к ответу не потянешь, даже маленькой неприятности не причинишь,— сказал Николай.— Себе дорожке станет. Лично я мечтаю скорее кончить это дело и по домам.

— Будем работать,— вздохнул Василий Васильевич,— но что выкопали, мешать с хорошей картошкой не станем.

— А у меня желание работать сорвалось,— заявил Вениамин.— Мне для всякой работы душевный настрой нужен.

Все разбрелись кто куда. Дина в своем закутке мыла голову. Николай завалился под стогом с книгой.

Василию Васильевичу это не нравилось. Такого отношения к работе он не признавал, но понимал, что ребята сейчас его не послушают, и улется в сарае на свой тюфяк. По-настоящему ведь только-только приладились работать. А если окончить на косогоре — дальше пошло

бы куда веселей. Там и земля легче и картошка крупная. Конечно, копать подряд быстрее. Но не они здесь хозяева, придется подчиниться. Вот накопили кучу негодной картошки — считай, ничего полезного еще не сделали.

С этими мыслями он уснул, а проснулся оттого, что кто-то дергал его за носок кеда.

— Эй, студент, на закате спать нехорошо. — Дина стояла возле его тюфяка. Распущенные волосы покрывали ее до пояса, блестели и завивались. Хотелось их потрогать.

— Вставайте, мы костер разожгли. Вениа на гитаре играет. А как зовут вас, я до сих пор не знаю.

— Василий Васильевич меня зовут.

— Важно! — Она засмеялась и протянула ему руку, помогая встать.

Костер горел не ярко, но славно, трещали сучки, тянуло дымком. Вениамин, чуть подыгрывая себе на гитаре, пел негромко:

— Море не дышит, звезды не плачьте,
Странные снятся сны...
Даже на самой высокой мачте
Мне не достать до луны...

Все молчали. Вениамин перебрал струны, запел что-то другое:

— Где-то над сонной водою
Мошки ведут хоровод.
В синем лесу над рекою
Девушка милого ждет.
И равнодушно в березы
Прячет кудрявый туман
Чьи-то горячие слезы,
Чей-то холодный обман...

Василию Васильевичу песни понравились. Толстый Валерка сказал равнодушно:

— Неклево, Венечка. Несовременно. Недоходчиво. Не прокормит тебя этот вокал.

— Это замечательно! — запальчиво крикнула Дина. Она сидела рядом с Вениамином, и ее юбка широкой сборчатой оборкой покрывала его сапоги.

Вениамин хлопнул ладонью по струнам.

— Как умею. Хрипеть и рычать не могу. Орать по двадцать раз одну фразу противно. По телевидению не выступаю и соответственно гонораров не беру.

— А предлагают? — нагло спросил Валера.

— Случается,— спокойно ответил Вениамин, передал гитару Николаю и, обхватив Динины плечи, спросил вполголоса:

— Ну как, договор в силе?

Дина напряженно, будто согнутая его рукой, тихо сказала:

— А не поздно?

Он не ответил, легко приподнял ее за локти и повел на косогор к черной стенке леса.

— За грибочки, однако, можно не беспокоиться,— ухмыльнулся Валера.

— Не твое дело,— обрезал его Николай.— А поет он хорошо. Надоело, когда орут,— ни слов, ни мотива.

— Зато ритмы. А это сейчас главное.

Василий Васильевич молчал. Ему было грустно, что Дина ушла с гитаристом. Не должна она была с ним идти. При свете костра так блестили ее темные распушенные волосы...

Он стал медленно гасить костер, подгребая его со всех сторон землей. Ушли спать Валера и Николай. В поле никогда не бывает ночью полной тишины. Странные звуки чужой непонятной жизни, легкий посвист, шуршание, чуть слышное цоканье окружали Василия Васильевича, и вдруг эту ночную музыку разбили быстрые человеческие шаги. Вниз по косогору сбежала Дина и, тяжело дыша, встала у тлеющего костра.

— Сядь,— сказал Василий Васильевич, не глядя ей в лицо.— Что ж так мало погуляли?

Дина долго молчала.

— Не захотелось...

— Ночью в лесу неповадно ходить,— сказал Василий Васильевич. Ему вдруг стало радостно.

Тяжелыми быстрыми шагами мимо костра в сарай прошел Вениамин. Не остановился, не сказал ни слова, будто не видел у догорающего костра Василия Васильевича и Дину.

— Ну вот,— сказал Василий Васильевич,— теперь все вместе и душа на месте. А завтра надо пораньше вставать...

— Ну, почему у одних все так легко и просто, а у меня всегда со сложностями? Почему? — вдруг сказала Дина.

— Не знаю.

Дина тихо засмеялась.

— Ну где же вам знать, Васенька? Вас как мама в детстве называла? Вася-Василек, да?

Он не ответил и долго еще после ее ухода сидел над остывающими углями.

Никто никогда не называл его Васильком. И он никого не называл мамой. Только одна пожилая медсестра детского дома, которая дала ему имя, изредка при встрече называла его Васюта.

Теперь копали, начиная с косогора и дальше во всю ширину поля, все подряд. «Что нам, больше всех, что ли, надо?» — высказался Валера. «А вдруг она тебе в магазине достанется — мелкая да зеленая?» «А что я, дурак — такую покупать?» «Разболтались!» — кричал Вениамин. Он работал зло, остервенело и, когда доходил до больших кустов, без жалости резал лопатой крупные клубни. Иногда будто нарочно. Так что Василий Васильевич сделал ему замечание: — Поосторожней надо. Ведь чувствуешь, когда на картошку жмешь...

— А ты кто такой? — вдруг закричал Вениамин. — Тебя кто тут начальником поставил? Что ты всем указания даешь?

Василий Васильевич не хотел обострений.

— Да погляди сам, — примирительно сказал он, поднимая большую надрезанную картофелину. — А ведь какая красавица была...

Вениамин выбил у него из рук картошку. Николай и Дина повисли у него на плечах и увели в сарай, где он завалился на матрац до позднего вечера.

На следующее утро Василий Васильевич за завтраком сказал:

— Мы главных не выбирали. И я себя здесь главным не считаю. Но раз приехали работать — значит, надо работать. Лодырничать никому не позволено.

— Уж не ты ли запретишь?

— Все запретят. — Василий Васильевич оглядел ребят.

Они молчали. А ему хотелось, чтобы все было по-хорошему.

— Для чего нам свариться? Будем работать как люди. Коллективно.

— Ага. Сплоченными рядами к сияющим вершинам, — с издевкой продолжил Вениамин.

Но Василий Васильевич уже шел к полю.

Работа как работа. От нее с непривычки к вечеру ломило плечи и поясницу. Василий Васильевич считал, что эта усталость полезна. Но его удивляла Дина, которая успевала приготовить обед, не ленилась придумывать салаты из разных овощей, а потом от печки бежала к полю широкими прыжками и всегда с улыбкой и всегда со спущенной косой, которую не удерживали шпильки.

Очень не хотел Василий Васильевич еще раз увидеть, как Вениамин, по-хозяйски обхватив ее за плечи, ведет к лесу. И потому сразу после ужина уходил в сарай и ложился на свой матрац.

Но, похоже, в лес они больше не ходили.

В один из вечеров, когда Василий Васильевич лежал укрытый с головой, а в сарае все скрывала темнота, вошел Вениамин, а за ним с кухонным полотенцем на плече Дина.

— Венечка, ты на меня рассердился?

— Не тот лексикон. Детские слова. Я просто не люблю разыгры-

вать несвойственные мне роли. Альбомные чувства — это не для меня. Я уже вышел из этого возраста, да и ты, прости, пожалуйста, тоже. Так что Ромео и Джульетту нам изображать не стоит.

— Да, конечно. Ты прав. Не надо ничего разыгрывать. Просто тогда было очень темно.

— А тебе обязательно нужен лунный свет?

— Ну, зачем ты так? Я надеялась, что ты поймешь...

— Ладно,— сказал он.— Будем считать — эксперимент не получился.

Дина заплакала.

«Любит она его, что ли?» — подумал Василий Васильевич.

Вошли ребята, зажегся свет. Дина легко затопала — убежала за свою загородку.

В сущности, все было понятно. У Вениамина такое лицо, которое до старости останется молодым. Откинутые назад волосы, брови, нос, рот четко очерчены. Все в лице и фигуре без излишеств, такие должны нравиться девушкам. А еще и на гитаре играет.

Нет, с Диной все ясно. Скорее непонятен Вениамин. Что ему еще надо? Девушка работающая, красивая. Держался бы за нее, дурак. «Фанаберии, форсу в нем через край», — с недоброжелательством подумал Василий Васильевич.

А в общем, у каждого свои недостатки. И у себя беспристрастный Василий Васильевич мог насчитать их немало. Через неделю разойдутся каждый по своему пути. Перевоспитывать их Василий Васильевич не собирался. Он хотел со всеми быть одинаково ровным, но почему-то не получалось. Не было в отношениях ни легкости, ни настоящего дружелюбия. И все это ощущали.

Николай прямо сказал:

— Обижаешься, студент? Откалываешься?

— Не на что мне обижаться

— Да нет, ты обижаешься. А Вениамин — он парень клевый. Ему только досадно. Он, понимаешь, ассистент, надежда кафедры, а ему тут приходится время терять.

— Ну и что — ассистент? — равнодушно ответил Василий Васильевич.— А я — кандидат наук, у меня докторская на подходе. И мне сейчас совсем не ко времени эта картошка. А послали, и надо копать.

— Не заливаешь? — спросил Николай.— Впрочем, нет. Я сразу тебя угадал. Но ты мне верь: Венька тебя уважает. Завтра его день рождения, он хочет совместно отпраздновать. Валерку уже в магазин погнал. С утра, говорит, гулять будем.

— А работать когда?

— Один день можно и погулять. Ведь без выходных гнемся.

— Не будет завтра гулянки. Тут всего ничего осталось. Кончать надо.

— Не иди на принцип. Не по-товарищески. Кстати, завтра осадки обещают. Много не поработаешь.

На другое утро и вправду серое, налитое водой небо низко пригнулось над землей. Похолодало.

Позавтракали быстро. Дина в большом тазу месила тесто, но работать пошла вместе со всеми. Большая часть поля была уже взрыта. В сыром воздухе резко пахла привядшая картофельная ботва.

Василий Васильевич взялся за лопату, не разгибаясь, не глядя вокруг, не замечая, что мелкий, точно распыленный дождик стекает у него по лбу и, смешиваясь с потом, щиплет глаза. Когда он расправил спину, до обеда еще было далеко, но ребята стояли на краю поля.

— Эй, кандидат! — позвал его Вениамин. — Пошли. Дина пирожки жарит. Я слышал, кандидаты пирожки с капустой очень обожают.

Пошли. Поели пирожки с капустой, поели неизвестно откуда взявшиеся шпроты и полукопченую колбасу. Выпили водки. Перед Вениамином на столе стоял букет ромашек и флакон французского одеколона ценой в пятнадцать рублей. «Динин подарок», — понял Василий Васильевич.

Когда меж разорванных туч показалось солнце, он поднялся.

— Сегодня работать не будем, — не глядя на него, сказал Вениамин.

— По какому случаю?

— По тому самому, из-за которого мы сидим.

— Делу время — потехе час.

— Уймись, студент! — развязно встрял в разговор Валера. — Хватит тебе пословицами сыпать.

— Сядь, кандидат, — примирительно сказал Николай. — Не убежит она, наша картошка...

— Черт с вами! — взорвался Василий Васильевич. — Я один пойду, один докопаю это поле, если у вас уже совсем совести не осталось.

— Га, посмотрите на этого психа! — заорал Валера. — Иди копай за меня, я тебе спасибо скажу! — кричал он уже в спину Василия Васильевича, который сбежал с косогора в поле.

С места вскочила Дина, но крепкой рукой ее удержал Вениамин.

— Пусть идет. Это он по фильму действует. Помню, такой же энтузиаст в одиночку лес валил, чтобы паровоз запустить. Наш кандидат на этих примерах воспитан.

— Выставить надо этого дурака, тогда будет знать, — не унимался Валера.

— Придет случай — выставим.

А Василий Васильевич работал с остервенением и только повторял, не сбиваясь с ритма: «Черт с вами! Черт с вами!» Один за одним он поднимал на лопату кусты, разворачивал комья красноватой земли, торопливо выбирал клубни. Очень хотелось ему убрать все поле. От этого страстного желания дрожало все внутри. Но сколько рядов он ни проходил, впереди все темнела неоглядная даль синеватой зелени.

Когда стало невмоготу, он, уставившись взглядом в землю, подошел к стогу сена и упал возле него. Его сразу сморил тяжелый сон, при котором не чувствуешь своей жизни и просыпаешься, не понимая, кто ты и где ты...

Его разбудили. Трясли за плечо и кричали зло и обидно:

— Напился!

Вячеслав Петрович, председатель колхоза, возвышался у стога, как великан. Неприятно было чувствовать себя пропотевшим, запыленным, повергнутым на землю перед человеком, заряженным силой и злой энергией.

Василий Васильевич поднялся, хотел пригладить волосы, но увидел засохшую землю на своих руках.

— Я...— Он хотел сказать «не пил», но почувствовал во рту противный дух перегара и добавил совсем по-глупому:— Не думал я пить...

— Ага, не думал! — крикнул Валера.— Как лошадь хлестал!

Все они, его товарищи, стояли группой неподалеку от стога.

— На село два раза за водкой бегал...

Валерка уже открыто глумился. Его понесло.

— Врешь,— негромко сказал Василий Васильевич.— Зачем же ты врешь?

Заговорили все наперебой, и можно было понять только одно, что Василий Васильевич, пьяный вдрызг, свалился под стогом, а они хотя и поддали, но только за компанию с ним.

— Мы все выпили по случаю дня рождения, но в меру, а товарищ вот перебрал,— объяснял Вениамин, открыто и честно глядя своими леденцовыми глазами.

— Вы что, значит, все тут подлецы? — с ненавистью спросил Василий Васильевич. Он видел, что Вениамин обхватил рукой Дину за плечи. Ему стало горько.

— Все вы тут одна шайка!

— Постой, постой,— прервал его Вячеслав Петрович,— это что же получается? Вся рота не в ногу, ты один в ногу? Так у нас не бывает. Против тебя весь коллектив. А нас учили — коллектив всегда прав. Против него не пойдешь. И вы товарищей своих не оскорбляйте!

Он вдруг стал называть Василия Васильевича на «вы».

— Не товарищи они мне...

— Вон и бутылки у стога валяются,— не унимался Валера.

Василий Васильевич невольно прикрыл лицо измазанной рукой. Он не видел, как Дина, вывернувшись из-под руки Вениамина, побежала к стogu.

— Ребята, вы что, с ума посходили? Вы всерьез? Это же все вранье. Он целый день работал. Что же все на него?!

— Дина, сюда! — властно приказал Вениамин, но она не обернулась.

— А ты чего молчишь, Вася? Ты что из себя христосика строишь? Ты же целый день картошку копал, минут двадцать как прилег. Вон, посмотрите, у него же руки в земле. Как не стыдно, ребята! Хотя имейте мужество правду сказать!

— Ах, какая горячая защита! — засмеялся Вениамин.

— Но это же подлость, ребята! Сознайтесь! Подлость!

— Ах, пойдете к сияющим вершинам, — дурашливо затянул Валера, и тут же Николай ударил его по лицу.

Валера взвыл и упал.

— Ну, знаете! — возмутился Вячеслав Петрович. — Это уже из рук вон. Интеллигенция, ученые! Я тут ваши внутренние свары разбирать не стану. Я на работу дам знать...

Он сердился все больше и больше.

— Видно, забыли, для чего вас сюда прислали. Культурные люди до мордобоя дошли.

Он пошел к своей машине, но, открыв дверцу, повернулся к Василию Васильевичу.

— А я мечтал, что вы лекцию нашим ребятам прочтете о достижениях советской электроники и кибернетики. Какая уж тут лекция! Вы и свое-то задание не смогли с умом до конца довести!

Злобный огонь горел в душе Василия Васильевича. Невозможность ничего рассказать, доказать, оправдаться сбивала дыхание. Он не мог видеть их всех, даже Дину. Убежал в лес и бродил от березки к березке, пока не вышиб из себя гнев. А когда вернулся к сараю, то увидел работающих на поле людей, но были они так далеко, что даже голоса их не долетали до Василия Васильевича. А может, они работали молча...

Настал день, когда вырыли всю картошку и поле лежало перед ними успокоенное, черно-рыжее.

Последние дни все больше молчали, говорили только по делу. Но когда, распрощавшись с колхозом и получив соответствующие бумаги, приехали на станцию, Вениамин протянул Василию Васильевичу руку.

— Прощайте, — сказал он. — Конечно, много глупостей было. Извиняться не стану, но все же не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо.

— До свидания, — сказал Николай, — мир тесен, я надеюсь еще увидеться с тобой.

А с Диной разговора не вышло. Она помогала прилаживать Валере рюкзак и не подняла глаз, когда Василий Васильевич быстро пошел к головному вагону поезда.

Побежали за окном поезда обратным ходом перелески, полянки, покрасневшие клены, пожелтевшие березки. Потом снова белые башни пригородных новостроек, потом первая московская улица с автобусом. И вот он, вокзал. Поезд на соседнем пути только что прибыл с юга. Благоухали длинные расписные дыни, в ящиках с просверленными дырами приехали груши, персики. Загорелые люди в ярких одеждах торопливо волокли этот груз к стоянке такси.

Василию Васильевичу такси не нужно. Он поедет на метро, потом дойдет пешком до высокого дома, и лифт доставит его прямо до дверей собственной квартиры, к которой он за три года не успел еще привыкнуть. Впервые после всех общежитий своей жизни один в комнате, один в кухне, один за закрытой дверью. Хорошо!

Тут его потянули за рукав, и он увидел Дину.

— Прощаемся... Как-то нехорошо все получилось. Грустно это мне. Давайте хоть простимся по-человечески.

Говорила печальные слова, а сама улыбалась.

— И мне грустно,— неожиданно для себя сказал Василий Васильевич. Хотелось ему спросить ее телефон, но воздержался. Вместо этого сказал:

— Что же вы одна, без своего гитариста...

— Он не мой. Напрасно вы так думаете. Тут совсем другое.

— Да знаю я. Слышал я случайно один ваш разговор, и больно мне было за вас. Обидно за ваше женское достоинство. Вы уж простите, что я так говорю. Я еще тогда хотел у вас спросить: почему вы себя перед ним так роняли? Где ваша гордость?

— Правильно,— ответила Дина.— Вы все правильно сказали. Вы все знаете, да? И про женское достоинство и про девичью гордость.

Он упрямо наклонил голову.

— Из песен знаете? Или из фильмов? А что вы знаете про женское одиночество, про одиночество на всю жизнь? А ведь об этом сейчас тоже песни поют, не слышали?

Она рассмеялась, как всегда, громко и помахала, вернее, повела правую-влево раскрытой ладонью.

— До свидания, Вася... Вася-Василек... До свидания!

Ее голубое платье сразу пропало, затерялось в шумной пестроте вокзала. И Вася вдруг подумал: «Это уходит от меня моя судьба, мое счастье...»

Шумно было на вокзале, и поток людей втянул его в метро. В лучшее метро на свете...

ВЕЧЕР В ФИЛАРМОНИИ

Маро открыла дверцу шифоньера. Выбирать было из чего. И кримплен и чистая шерсть. Много всякой ерунды из ацетатного шелка. И даже жакет и юбка из джинсовой ткани, над которыми очень потешался ее муж Самсон Иванович.

— Раньше женщины парчу носили, бархат носили... И вот за это рублище, за эти тряпки — сто двадцать рублей?

Он и двести дал бы, раз ей понравилось. Ничего не жалел для жены.

Надо выбрать что-нибудь богатое, но неброское. Хотя не все ли равно, как она будет одета? Кто ее увидит? Это она сама идет смотреть исподтишка, точно вор, или, вернее, обворованный, который увидит свою драгоценность в руках другого, а ничего не посмеет сказать.

Маро сняла с деревянных плечиков темное шелковое платье, подкрасила губы, удлинила брови. Туши для глаз ей не надо — ресницы у нее и сейчас доходят до самых щек. И волосы у нее густые, вьющиеся. Конечно, она уже не та, что прежде. Много лет прошло. Разве в прежние времена стоял бы так спокойно в дверях Самсон Иванович, глядя, как жена куда-то собирается без него?

— Для кого стараешься? — упрекал бы он. — Для кого в зеркало смотришь? Я тебя насквозь без всяких зеркал вижу!

Если уезжал по делам, то с каждой станции давал телеграмму.

— Мало пишу, много понимаю.

А сейчас он жалобно спрашивает:

— Ты куда идешь, жена?

Маро отвечает правду. Она никогда в жизни его не обманывала:

— В филармонию, на концерт.

— Скорей иди, чтоб скорей вернуться.

— Приду, когда кончится. Не раньше.

Трудно завоевывала она его доверие, этот дом, украшенный коврами и хрустальными вазами. Она готовила еду, натирала до блеска полы и мебель. Каждый вечер ставила она перед мужем таз с горячей водой, чтобы он опустил туда уставшие ноги. И только теперь, через годы и годы, она в этих стенах полная хозяйка. Может делать что угодно и ходить куда угодно.

Но концерт в филармонии — это уж слишком необычно.

— Уже кино тебе мало? Оперу тебе нужно, может быть, симфонию?

Маро терпеливо отвечает:

— Ансамбль песни и пляски Паруйра Стамболцяна. Концерт перед поездкой во Францию.

— Французам, может быть, интересно, а ты что, «Наз-пар» и «Узундари» не видела? Сама лучше всех станцуешь! А Стамболцяна — человек несведущий. Заказал для своего банкета шашлык по-

карски, а у меня заготовки не было, я ему обыкновенный чабанский подал. Не сумел отличить. Пил мое здоровье: «Непревзойденный мастер шашлыка по-карски Самсон Иванович!» Столько понимает...

— Ты в своем деле понимаешь, он — в своем.

Сколько времени понадобилось, чтобы непокорная, дерзкая на язык деревенская девчонка научилась так разумно, так рассудительно умирять мужской нрав! Теперь Маро уже не делает над собой никакого насилия — это ее жизнь, ее судьба, которая начиналась горько и несчастно, а повернулась счастьем и довольством. За все надо платить.

Концертный зал филармонии представлял собой полукружие. Вторая половина круга — оперный театр. Красота этого здания, окружающего его парка, широкого проспекта была настолько знакомой и привычной, что Маро почти никогда ее не замечала. Но сегодня она остановилась на площади, окаймленной зеленью.

Закатное солнце уже потеряло свою огненную силу. Розовым светом были залиты тронутые желтизной деревья, гигантские памятники Туманяну, Спендиарову. Блестела вода маленького озера у театра.

От красоты, от непрерывности мира, от ощущения быстро уходящего времени Маро охватила тоска.

— Приди в себя, женщина, — умирала она свою душу. — Что плохого случилось с тобой? Что ты потеряла и что ищешь?

Концерт был праздничный. Перед началом объявили, что ансамбль показывает программу, которая будет представлять армянское искусство за рубежом.

Вызвали композитора. Невысокий худенький Стамболцян кланялся и принимал цветы, заключенные в блестящий целлофан.

Теперь Маро воспринимала эти отсрочки с досадой и нетерпением. Наконец некто незримый выскочил из-за кулис, убрал со сцены стулья. Ведущая прошуршала затканным блестящими платьем к микрофону и объявила танцевальную группу ансамбля.

— Пляски «Наз-пар», «Узундара», «Танец с чашечками»... Балетмейстер... Солистка...

До солистки Маро дела не было. Она и фамилии ее не расслышала. Не солистка ей была нужна, а одна из этих девочек, что плавно, как уточки по воде, выплыли из-за кулис. Все тонкоспинные, затянутые в яркие архалуки, все с длинными нейлоновыми косами. Они заскользили по сцене, расставив точеные руки и слегка наклонив головы. Их было много. Куда больше, чем ждала Маро. Ей казалось, что она сразу узнает свою Офис, но в глазах мелькали длинные откидные рукава, кисея, ниспадавшая с бархатных шапочек, блестело серебро поясов. Тогда Маро собрала все свои силы и стала по очереди всматриваться в каждую. Не первая, нет, у нее голубые глаза, не вторая, нет, во второй, не третья...

Боже, как торопилась Маро! Ее глаза перебегали с одного лица на другое, ей хотелось остановить движение девушек, чтобы рассмотреть каждую, ей надо было найти среди них свою дочь.

Она подалась вперед, досадуя, что не взяла билет еще ближе. Всегда заботясь о том, какой ее видят люди, Маро забыла, что вокруг нее народ. Она впилась руками в спинку переднего кресла.

Сидевший рядом с ней военный весело сказал:

— И откуда столько красавиц набрали? Одна другой лучше. Верно, сестрица?

Нет! Нет! Лучше всех одна — четвертая в ряду. Одна, которую ни с кем не сравнишь, не спутаешь. Под гримом, в необычной одежде, Маро узнала — сердцем, далекой незаживающей памятью, глазами — узнала свою дочь.

Круглое личико, черные, словно выведенные кистью брови, детская доверчивая улыбка, глаза, как лесной орешек... Вот она, Офик, мое дитя! Разделяет их несколько метров. Разделяет их шестнадцать лет, из которых не вернешь ни года, ни часа, ни минуты...

Она и сейчас самая прелестная, самая лучшая в этом хороводе, как и от рождения была самой красивой девочкой в деревне. Люди останавливались и говорили:

— Чтоб ты умерла, как хороша! И отчего это пащенята такие всегда ладные получаются?..

В этой фразе не заключалось вроде бы ничего обидного. Это было старинное народное заклинание, ограждающее от злого духа и злого глаза. «Чтоб ты умер, уж больно хорош!» — так говорили и про своих детей. Но тут ведь прибавляли и другое — пащенок.

Мать не смотрела в сторону Маро уже с третьего месяца ее беременности. Матери всегда знают — от них не скроешь. Все время до родов они жили, как чужие. Еда подавалась на стол, и ели молча, разговоры были короткими — только по делу, по обиходу. Трудное было время. Надо было ходить на работу и чувствовать, что тяжелеешь с каждым днем. Пришлось молча стоять перед колхозным бригадиром, пожилым человеком, который, отводя глаза в сторону, смущаясь, предложил ей перейти со сбора табака на более легкую работу — к весам. Холодными невидящими глазами отражала Маро любопытные, сочувствующие, жалеющие взгляды, слова, вопросы...

Деревенские ребятишки провожали ее до дома, выкликавая песенку, которую они, кажется, понимали буквально:

«Маро арбуз проглотила...
Маро арбуз проглотила...»

Горько она была наказана за то, что понадеялась на свою красоту и поверила, что родилась она «звездной», как выражают в Армении степень женской неотразимости.

— Никогда не уйдет от меня мужчина, которого я хоть один раз поцелую, — самонадеянно говорила она подругам.

Приехали собирать табак студенты.

— Вот какие у вас девушки! — восхитился их бригадир.

Любовь началась с первого взгляда — единственная, ни с чем не сравнимая. Маро ни в чем не сомневалась, ни о чем не загадывала, во все верила. А он уехал, не написал, не вернулся. И она его не искала — от гордости.

Родила легко. Наслышалась об ужасных муках, которые ждут женщину, все ждала этих страданий, все готовилась к ним, а вскрикнула всего два раза. И то мать гневно приказала:

— Терпи! Не на супружеской постели рожаетесь...

Мать сама приняла ребенка, горько плакала, когда обмывала девочку. А Маро ни о чем не смела спросить и только потом, когда осталась одна, рассмотрела ее пальчики с точеными ноготками, темную головку и смуглое, как орешек, личико.

К вечеру в комнату без стука и спроса стали неслышно вползать женщины — соседки, подруги, мамыны сестры. Как положено, принесли тарелки с домашней халвой, яичницу с медом, конфеты. Тихо усаживались вдоль стен, говорили шепотом и горько вздыхали.

Маро отвернулась, чтобы не видеть их скорбные лица и черные платки. Но тут ее мать, как орлица, накинута на гостей:

— О чем скорбите? О ком вздыхаете? Какое горе случилось? Кто заболел? Кто умер? Человек в мир пришел! Что тут плохого? Вот какой человек...

Она подняла новорожденную над своей головой.

— Посмотрите, какая красавица! Бровки пером выведены, ротик — арбузное семечко, личико, словно роза... Радоваться надо, а не плакать...

И тогда все облегченно и шумно заговорили, хвалили новорожденную, поздравляли Маро:

— Пусть живет долго!

— Пусть будет здорова твоя дочка!

— Пусть будет счастлива!

Когда Маро заплакала, они ее утешали, говорили, что теперь не старое время, ошибиться каждый может, сейчас на это иначе смотрят, а ребенок всегда счастье...

Нет, не было так. В двадцать лет кончились для Маро все молодые радости. После рождения Офик она перестала даже в кино ходить.

— Как в тюрьме живу...

— Раньше надо было думать, — отвечала мать.

Подруги выходили замуж. На свадьбах она сидела за столом среди пожилых женщин, не ощущая веселья. Дома мать расспрашивала, был ли на свадьбе председатель колхоза, какие подарки получили

молодые, какие речи говорил тамада, как была одета невеста. И, горестно прихлопывая себя по коленям, приговаривала:

— Счастливые ее родители, ах, завидую ее родителям...

...Люди, сидящие рядом с Маро в зале филармонии, не заметили, что у нее потекли слезы из глаз, такое горькое время вспомнила она. Эта легконогая красавица была ее дочкой. Маленькая, она всегда встречала мать широкой сияющей улыбкой, от которой трепетало сердце. Но жизнь была полна забот.

— Маро, у ребенка лишай на голове, отнеси ее к доктору...

— У нашей Офик обуви на зиму нет...

— Глаза болят у девочки, в город везти надо...

— Опять ты ее перед сном не помыла! У меня нет сил каждые два дня простыни стирать. Старая я стала, помни это, пожалей меня,— причитала мать.

— А меня кто пожалеет? — кричала Маро. — Я еще молодая, я жить хочу!

Ах, тогда бы ей — нынешний разум! Она холила бы своего ребенка, жизнь бы на это положила. И сегодня на сцене филармонии танцевала бы ее Офик, а не Карина Саруханян, как значится в афишах.

Даже имени ее ребенку не оставили...

Но не забыть и то, какой обузой в дни молодости была для Маро маленькая улыбчивая Офик. Кто возьмет в жены девушку с нагульным ребенком? Конечно, много было охотников провести время с красавицей, которой уже нечего терять, но сердце Маро ожесточилось против мужчин. Ни для кого не было исключений.

Она развешивала как-то нанизанные для просушки листья табака. В сарае больше никого не было. И вдруг кто-то обхватил ее и жарко зашептал прямо на ухо:

— Перепелочка ты моя... Идешь, трепещешь...

Маро чуть не упала на связки табака, но удержалась и ударила ухажера локтем в грудь, а когда он отступил, еще и кулаками добавила, хотя отлично видела, что это был председатель Маилян.

— С ничьей яблони каждый хочет яблочко снять,— говорила мать.

Маро думала, что председатель затаит на нее злобу, но он ничем этого не показывал. Наоборот, смотрел на нее при встречах с одобрением.

Молодость уходила, жизнь уходила. Работа в колхозе, работа в доме, без праздников, без развлечений. Ничего, кроме обязанностей. Если что-то интересное и происходило в деревне, Маро это не касалось.

Как-то вечером мать сказала:

— К председателю племянник приехал. Большой человек. Главный повар в Ереване.

— Что ему здесь надо?

— Жениться хочет.

— Что же он в Ереване невесту не нашел?

— Из родной деревни хочет взять. Настоящий мужчина.

И опять свое завела:

— Ах, счастье той женщине, чьим зятем он станет! Наверное, у Геворкянов Ануш возьмет, девушка, как роза...

— Наплевать мне, кого он возьмет! Толстуха и грязнуха твоя Ануш, — с сердцем сказала Маро.

Только напрасно она так сказала. Под вечер возле магазина увидела этого племянника. В серой каракулевой папахе, глаза навывкате, сам большой, шумный, веселый. Настоящий мужчина.

Она его увидела, и он ее увидел.

Через день пришла в дом к матери Маро женщина из семьи Маилян. Сперва завела пустой разговор, а потом решила:

— Давай, сестрица Шушан, криво сядем, прямо скажем. Добрую весть я принесла в твой дом. Самсон Иванович хочет твою дочь за себя взять!

Шушан, даже обомлев от счастья, умела держаться достойно.

— Ну что ж, — спокойно ответила она, — я не против.

— Очень ему Маро понравилась, — пела сваха, — глаза, рост, обращение. И дядя его, наш председатель, о твоей Маро ему хорошо сказал...

Шушан кивала головой. Руки она сжала, чтобы не дрожали.

— Он ее сразу в загс поведет. В городе у него квартира — полная чаша. Не с пустого будут начинать. Ну, что тебе сказать? И обстановки, и ковры, и посуда. Счастливая женщина войдет в такой дом. Он сказал, что ему даже подушку от невесты в приданое не надо.

Умудренная Шушан ждала, что за этим последует. Гостя понизила голос:

— Но ты сама понимаешь, Шушан... Самсон Иванович человек солидный, в городе известный: у всех на виду...

— Скажи прямо то, что должна сказать, — помогла ей Шушан.

— Чужого ребенка ему не надо...

Из Маро трудно было выжать слезу. Но в этот вечер она плакала.

— Куда я ее дену? Ну, куда? В детский дом не отдам, там им головы наголо бреют...

— Зачем в детский дом? — тихо усовещевала мать. — Кто сейчас такого красивого ребенка в детский дом отдаст? Мы так сделаем, что и тебе и ребенку хорошо будет...

Кто и как все устроил, Маро не узнала. Ходили к Шушан какие-то люди, мать ездила с ними в Ереван. Через несколько дней сказала:

— Хорошая, культурная семья. Немолодые уже. Детей нет. Он бухгалтер, она врач. Будут любить, как своего ребенка.

В последний вечер Маро выкупала свою маленькую дочку душистым мылом. Девочка вся была опалена горным солнцем — смуглая, худенькая. В корыте она плескалась, визжала, а в постели быстро затихла. Щеки от купанья разгорелись, кудрявые волосы рассыпались по подушке.

В ту ночь Маро долго не могла заснуть. Мучилась, ворочалась на своей жесткой тахте. Сквозь трудную дрему слышались ей чьи-то стоны, чьи-то жалобы.

Она пошла в горницу, где спала Офик. Над маленькой тахтой раскачивалась тяжелая тень Шушан. Распустив по плечам седые волосы, старуха причитала шепотом, на одном дыхании:

— Душа моя, дитя мое, что я могу? Ангел мой, боль моя... Ослепнуть бы мне, не дожить до этого дня...

Маро встала рядом с матерью и та, испуганная, поднялась, тяжело опираясь на тахту. И как будто не она только что плакала — заговорила спокойно, рассудительно:

— Они ее музыке учить будут, они ее летом в Сочи отвезут... А ты еще ребенка родишь, законного...

— Не трави мне сердце, мать, — сказала Маро. — Я сама решила, сама! Я счастья хочу! Человеческой жизни хочу...

Детей у Маро больше не было. Первые годы она ждала, ходила в поликлинику, бегала к знахарке. Ездил в Эчмиадзин — принесла в жертву белого ягненка. Не помогло. Узнала про знаменитого профессора, к которому так просто не попадешь. Но перед ее мужем открывались многие двери, и она потребовала, чтобы Самсон добился для нее профессора. Муж отшутился, но ночью, положив ее голову себе на грудь, сказал необычно мягко:

— Не мучай себя напрасно. Не поможет тебе профессор. Не будет у нас детей. Я в молодости много глупостей наделал. Сам виноват. — Потом добавил: — Если правду сказать, потому тебя и взял. Ты уже все изведала, тебе не обидно.

— А моего ребенка почему не захотел?

— Есть причина.

— Подлый ты человек, Самсон. Низкий ты человек.

Это уже было время, когда Маро могла позволить себе такие слова. Но и он стал другим. Не разъярился, не раскричался, терпеливо объяснил:

— Не подлый. Умный я. Сколько раз за эти годы ты подумала бы: не так он на ребенка посмотрел, не так сказал. Родной отец в кровь избьет, никто его не осудит, а я должен был бы себя в каждом слове сдерживать. А для чего? Разве ты тосковала? Страдала? Спокойно жила, хорошо жила.

В чем-то он был прав. Но она сказала:

— За своего ребенка и поплакать сладко.

Но разве плохо Маро жилось? Заботы у нее были легкие — сварить ореховое варенье, достать немецкий сервиз, хорошо принять гостей. Но было ли это счастьем?

Неделю назад толстая Ануш, которая тоже теперь жила в Ереване, встретила Маро на улице и среди пустого разговора вдруг сообщила:

— А твоя дочка во Францию едет...

Так Маро узнала, что Офик танцует в ансамбле Стамболчяна и зовут ее теперь Карина Саруханян...

Вот она протягивает своей матери со сцены серебряные чашечки, будто поддразнивает. У нее та же трогательная открытая детская улыбка, то же круглое личико. Маро не суждено назначить день ее свадьбы, увидеть своего зятя, подойти к дверям роддома за своим внуком.

Лишили ее дочери, отняли радость. Разве в справедливом мире так должно быть?

На громком всплеске умолк оркестр. Танцовщицы на миг застыли, потом рассыпались и встали в ряд. Из-за кулис вынесли корзину роз и поставили перед солисткой.

Маро прихлопнула себя по щекам. Недогадливая, недогадливая! Да она в два раза больше цветов бросила бы к ногам своей дочери, чтобы все знали, кто лучшая танцовщица ансамбля!

Зал аплодировал неистово. Маро взглянула на своего соседа. Он хлопал изо всех сил.

— Это моя дочка танцевала! — крикнула Маро.

Ей хотелось встретиться с Офик взглядом, но вышколенные красавицы опускали глаза и с достоинством кланялись, прижимая ладони к бархатным кафтанчикам.

Зал опустел. Померк свет огромной люстры.

Маро не спешила. Все участники ансамбля сейчас выйдут через служебный ход и разойдутся по домам. Их ждут родные, знакомые. Кто помешает Маро подойти к своей дочери и сказать: «Тебя хитростью, обманом отняли у меня, пообещали мне неведомое счастье, а мое счастье в том, чтобы ждать тебя у этих дверей, встретить и отвести домой за руку, за ту маленькую детскую руку с обломанными ногтями и заусеницами, которая не забылась до сих пор»...

Веселые, разгоряченные высказывали из дверей танцовщицы. Без грима, без кос они уже не казались такими красавицами, тем более что почти на всех были туго натянутые потертые джинсы и темные водолазки.

Только одна не потеряла своей прелести, только одну не портили ни узкие джинсы, ни короткие кудряшки, ни даже большие круглые очки.

Близорукая! Почему не поведут ее к лучшему профессору, почему не сделают все, чтобы не закрывать стеклами эти чудесные ореховые глаза? Чужие люди, не родные люди...

— Мама! — крикнула Офик.

Маро рванулась к ней. Но полная дама в черном бархате и высокий красивый мужчина встали между ней и ее ребенком.

— Деточка, — сказала мать, — дай я тебе укурю шею платком, а то как раз перед поездкой простудишься.

— А как все было, мама? Папа, как мы танцевали? Как я выглядела?

Неужели даже сейчас Маро не имела права сказать свое слово? Сотрясаемая волнением, вышла она под свет фонаря. Прикоснуться к своему ребенку она не смела.

— Как ангел ты танцевала! Ты была лучше всех... Здравья и долгой жизни тебе, дитя мое...

— Спасибо за ваши добрые слова. Мне так приятно это услышать, — вежливо отозвалась Карина Саруханян.

ОБМАН

Двадцать с лишним лет он не был в своем родном, любимом городе. Когда поезд, успокоенно шипя, подполз к вокзалу, Алексей Васильевич сперва не искал никаких перемен, но стало страшно, что здесь у него нет больше своего дома и нет дома друга, куда он мог бы войти, как к себе. Раньше такой дом стоял почти на каждой улице.

А воздух был тот же, настоящий на море и нефти. От этого запаха стало так больно, что Алексей Васильевич, человек уже немолодой, доктор наук, профессор, стоя над своими чемоданами, заплакал.

Люда, по счастью, ничего не заметила. Она знала свои обязанности. Всегда брала инициативу в свои руки. Алексей Васильевич, повинувшись ее жесту, пошел за тележкой с чемоданами на привокзальную площадь, к стоянке такси.

Там все было, как в снах — и так и не так. Сместились расстояния, дороги, дома. Он сказал таксисту:

— Поедем по линии трамвая улицей Двадцать восьмого апреля, потом по Большой Морской.

Таксист ему ответил:

— По этим улицам у нас трамваи не ходят и никогда не ходили.

Он хотел крикнуть: «Мальчишка! Я сам стоял у Молоканского сада и приветствовал первый трамвай, появившийся в нашем городе. Я изъездил этим маршрутом всю свою юность». Но промолчал.

Алексей Васильевич молчал до самой гостиницы, узнавая и не узнавая все, что встречалось на пути. Знакомые, родные дома — и вдруг неожиданные повороты улиц, чужие, новые здания. Тогда, закрывая глаза, он вдыхал ветер, по прежнему неистребимо пахнущий прошлым, хотя знал, что через день уже привыкнет и перестанет с такой остротой ощущать этот запах, так же, как в Москве быстро привыкаешь к запаху метро и ее улиц.

Жена раздраженно сказала:

— Что это ты как будто оглушенный?

Он поцеловал ее руку и подобрался, чтобы не позволять переменам так ранить свою душу. Прошло слишком много лет — он не узнал, не встретил своего города. А чего он ждал? Чтобы на бульваре стояла та же скамейка с вырезанным на ней десять раз именем: «Валя, Валя, Валя...»? Чтобы тот же трамвай подвез его к дому, где посередине двора, отгороженный штакетником, маленький квадратик освобожденной от асфальта земли растил пыльный куст олеандра и два чахлых деревца — персидской сирени и акации?

Молчаливый шофер уже вынимал из багажника их чемоданы. Куда же они заехали? Продолжение бульвара. Дорога к морю. Многоэтажное здание — гостиница. В его времена гостиницы находились в центре города, но тогда он только слышал названия — «Метрополь», «Гренада». Он в гостиницах не бывал.

Номер был забронирован солидной организацией. Люда делала все, как нужно, она находилась в своей стихии. Заполнила все анкеты, пошутила с администраторшей. Надо, не надо — всех старалась расположить к себе. Номер ей понравился. Развешивая платя на пластмассовых плечиках, она объявила об этом:

— Вполне современно. Уютно и, кажется, чисто.

Хороший гостиничный номер с двумя большими кроватями, с холодильником и телевизором. За балконом — сиреневое туманное море.

— Чем толкаться под ногами, пойдй, пожалуйста, погуляй. Тебе же самому не терпится!

Люда очень скрывала раздражение, вызванное приездом в этот город. Он долго уговаривал ее поехать, так как знал, что одного его она все равно не отпустит. Смешно: двадцать лет счастливой семейной жизни, взрослая дочь, все уже устоявшееся, родное, незыблемое. И вот — женская логика, женские страхи...

— Куда я сейчас? — нерешительно отговаривался Алексей Васильевич. — В библиотеку — ни два, ни полтора. В архив — тоже поздно.

А ему хотелось пойти. Люда это знала и уговаривала вопреки своему желанию, насадно, раздражительно:

— Иди! Я сейчас хочу отдохнуть. Ты мне только будешь мешать.

Алексей Васильевич пошел по своему городу. Веял очень теплой, почти горячий ветер, прилетающий из пустыни. Это был предвестник норда, сметающего тучи пыли, срывающего со стен афиши и с веревки белье. А все-таки чувствовалось, что стихийные силы природы были теперь в этом городе как-то укрощены. «Пустынный» не обжигал, как бывало раньше, и почему-то угадывалось, что дикого бушевания норда не будет.

Алексея Васильевича приводило в умиление, когда он узнавал то,

что в городе оставалось неизменным, несмотря на все ушедшие годы. Вот оставшийся совсем прежним поворот улицы. Очень крутая, она поднималась вверх к одному из центральных проспектов. А там — прекрасные дома, которые выстоят еще сотни лет, и в одном из них ателье, где он фотографировался с Валею в день их свадьбы.

И мысли его понеслись дальше ко всему тому, что еще осталось от прошлого, а главное — к дому с винтообразной лестницей и деревянными галерейками, где однажды в сумерках его теща положила ему на руки ребенка и сказала:

— Это мальчик...

За этот необыкновенный миг, за секунды невозможной нежности и раздирающей жалости, которую он тогда почувствовал, Алексей Васильевич уже двадцать с лишним лет признает своим сыном этого чужого ему человека.

Но почему, когда родилась Леночка, не было такого удара в сердце? Конечно, он испытал умиление и радость, когда в роддоме ему вручили ворох белоснежных кружев. Кругом было светло, откупорили шампанское, хлопали пробки, пахло цветами и духами.

А тогда? Тяжелый, душный запах. Тревожные, блестящие в темноте глаза Вали, которая вскрикнула всего один раз. И его слезы, они капали на ребенка, которого он прижимал к себе, почти голенького...

Это было вот здесь, за углом, в доме, где тяжелая сводчатая арка вела во двор.

За углом открылся ряд высоких белых коробок, похожих друг на друга, как близнецы.

Алексей Васильевич поймал проезжего «левака» и вернулся в гостиницу.

А вечером поднялся норд, хлестал пылью, завывал под окнами. Люда ни о чем не спрашивала, была тихая, молчаливая. Он сам ей сказал:

— Знаешь, здесь все так переменялось, хожу, как по какому-нибудь Мадриду...

Утром Алексей Васильевич ушел в архив, куда у него был допуск, потом до обеда просидел в центральной библиотеке.

Посещение архива, библиотеки, известные маршруты, привычная обстановка сняли напряжение и беспричинную тревогу. Алексей Васильевич шагал по улицам, не опасаясь и не желая никаких встреч с прошлым. Конечно, многое переменялось, но все закономерно. Переменялся и он сам.

— Людмила, ты у меня совсем закисла! Давай-ка мы с тобой что-нибудь сообразим.

— Ах, Алеша, у меня целый день болит голова от этого ветра. Как ты мог жить в этом городе? Каждый день ветер! И я беспокоюсь о Леночке...

— Ты ей уже два раза звонила. И бабушка там на страже, не говоря о том, что Леночке, слава богу, скоро двадцать.

— Ветер...

— А ветер уже затих. Собирайся в кино. Тут рядом роскошный кинотеатр возведен, и идет что-то заманчивое из твоих Феллини — Антониони.

— Это совершенно различные направления!

— Собирайся, собирайся. Быстро! Кино недалеко.

Кассирша сказала, что уже кончается журнал, билетов на сегодня больше нет. Несколько опоздавших неудачников разочарованно спускались по мраморным ступенькам кино. Люда злилась. Теперь ей непременно надо было посмотреть эту картину. И именно сегодня!

Алексей Васильевич, нерасторопный, неумелый, как всегда, чувствуя себя виноватым, осторожно поддерживал ее под локоток.

— Мужчина, эй, мужчина!

Этот хриплый окрик достиг их на последней ступеньке лестницы.

Алексей оглянулся. К нему торопилась невысокая легонькая женщина в светлом не по сезону костюмчике, в мальчиковых туфлях. Одной рукой она поддерживала рассыпавшийся узелок волос, другую протягивала с билетами.

— Если интересуетесь, могу предложить. Еще успеете.

— Интересноемся! — обрадовалась Люда.

— С наценкой, — сказала женщина, — по два рубля. Места хорошие.

Она безразлично смотрела в сторону. Но Алексей сразу узнал Валю, ее широко расставленные хрустально-зеленые глаза и темные брови. Неожиданно горько поразили его узловатые, усохшие руки, разметанные пряди неухоженных волос, а главное — коричневые мальчиговые полуботинки. Поразили так, будто он был за все это в ответе. Это ее слова так в свое время удивили Алексея, что он запомнил их на всю жизнь: «Женщина начинается с ног»... И носила она только лодочки с бантиками...

Жена торопилась, расплачивалась. А Алексей Васильевич все смотрел на свою первую любовь, на свою первую жену и боялся, что Валя его узнает... И хотел, чтобы узнала...

Но она не смотрела в его сторону, небрежно скомкала в ладони деньги. И только когда Люда стремглав бросилась вверх по лестнице, негромко сказала:

— Алеша... А я ведь тебя сразу узнала...

Он побежал от нее. Люда могла услышать их разговор, могла догадаться. И он даже не обернулся, хотя слышал, как она кричит ему вслед:

— Алеша, подожди... Куда же ты? Не хочешь поговорить со мной? Только два слова...

В переполненном зале, сдерживая стук своего замирающего сердца, он с трудом разыскал места и стал смотреть картину, которая была ценна своей абсолютной непонятностью.

А сам Алексей Васильевич был опять глупым, счастливым молодым человеком, сбросившим с себя последних экзаменов, всех обязанностей и любил одну-единственную девушку с широко расставленными зелеными глазами. Сидели они на весеннем бульваре, на столике — вазочки с мороженым, и девушка спрашивала:

- Правда, что вас распределили в московскую аспирантуру?
- Через год уеду.
- А я еще не видела Москву...
- Поедем со мной...

Алексей торопился жениться. Свадьбы никакой не было. Сходили в загс, выпили вина. Валя потребовала, чтобы он сразу же переехал к ним. После общезнания две маленькие комнаты, выходящие на деревянную, опоясывающую дом веранду, показались ему незаслуженным и излишне роскошным дополнением к самой Вале, к ее близости, ее зеленым хрустальным глазам, ее нещедрым, но тем более желанным ласкам.

Когда родился мальчик, Алексей не считал, не сопоставлял сроков, месяцев. Он ничего не понимал в этих делах. Был счастлив, возил сына в колясочке гулять на бульвар. Но как-то соседка, проходя мимо, с улыбкой пропела:

- Ах, какие у нас нынче скоростные дети на свет появляются!
- Он благодарно улыбнулся ей в ответ.

Потом старый армянин, дед Овсеп, сочувственно положил руку на плечо Алексея:

— Э-э, сынок, ребенок есть ребенок. Ты его вырастишь, человеком сделаешь, он тебя по праву отцом назовет...

Особенно интересовалась старушка, которая жила в подвале.

— Дай-ка еще разок погляжу Господи, ну чистый Вовка-боксер, его рисованный портрет, его и глаза, вытарщенные, бесстыжие. Ты не очень-то поддавайся! В случае чего я свидетелем пойду.

Тогда только Алексеем овладело сомнение, и он робко справился у патронажной сестры, которая изредка навещала их дом: как ухаживать за недоношенными детьми?

— А вам это на что? — удивилась она. — У вас, что ли, недоношенный? Месяца нет, а уже головку хорошо держит. Самый что ни на есть полноценный.

Алексей прямо спросил у Вали. Она молчала и усмеялась. Он умолял ее сказать правду, унижался, давал немыслимые обещания. Он тогда еще не знал ее привычку молчать и смеяться, не знал, что она жива и, главное, не знал, что она не любит его.

Откуда-то издалека приехал Вовка-боксер. Утром во время завтрака со двора донесся не очень громкий, но пронзительный долгий свист. Было будто ветром сдуло.

А на другой день выяснилось, что в доме исчезли все деньги: аспирантская стипендия Алексея, какие-то Валины захоронки и пенсия ее матери.

Алексею срочно понадобилось несколько рублей, но денег не было.

— Да куда же они подевались? — удивлялась Валя. — Вроде мы и не покупали ничего...

Ее мать ходила по дому с непроницаемым лицом и в разговоре не участвовала. А Валя вдруг захохотала:

— Да чего мы ищем? Я же сама все наши деньги твоему полковнику Газиеву в долг отдала. Он еще вчера приходил. Как отказать?

— Пойдем к полковнику! — твердо сказал Алексей. — Хочу знать правду.

— Да, пожалуйста, пойдем, в чем дело! — Она взмахнула подолом широкой юбки и сразу сорвалась бегом по лестнице.

А идти надо было далеко — в нагорную часть города. Валя шагала решительно, не позволяя Алексею догнать себя, не оборачиваясь, не разговаривая.

И он уже верил ей и жалел, что затеял этот поход.

Так же решительно она поднялась по лестнице, ведущей к дверям полковника Газиева, с которым некогда дружил отец Алексея.

«Что я делаю? — думал он. — Зачем все это?» Что он скажет в этом доме? Будет проверять жену? Не может Валя так бесстыдно лгать. Вот она уже поднимает руку к звонку. «Не надо! Вернемся домой!» — хотел крикнуть он.

Но в этот же миг она опустила руку, отшатнулась от двери, круто повернувшись, сбежала по лестнице, и, мелькая пестрой юбкой, исчезла в узких улицах нагорных кварталов.

Вернулась она под утро. На вопросы не отвечала. Смеялась. Тогда он побил ее — первый раз. Не рассуждая, не стыдясь того, что делает. Ей было больно, но она не увертывалась, не заслонялась, дерзко смотрела ему в глаза и смеялась.

Алексей ушел в общежитие. Там он прожил недолго, надо было ехать в Москву.

Валя пришла на вокзал в туфельках с бантиками, в зеленом платье под цвет глаз.

— Эх, была у меня мечта в Москву с тобой прокатиться...

Он любил ее.

— А за Юрку ты алименты платить все равно будешь. Он твой законный. Сейчас спросишь: Юрочка, где твой папа? Он тебя глазами ищет...

Алексей не мог без нее жить.

— Поедем со мной, — попросил он.

Она засмеялась.

— Нет, Алеша, овчинка выделки не стоит. Скучно мне с тобой.

— Зачем же ты за меня замуж пошла?

— В Москву хотела. За одним человеком гналась.

Его затрясло от обиды. А она ласково наставляла:

— А ты береги себя. Помни, у тебя сын растет.

Она находила способы напоминать ему об этом.

Как-то раз в разгаре московского лета, когда его жена Люда с маленькой дочкой пребывала в Анапе, раздался звонок. Он открыл дверь, и ему с размаха вскарабкался на плечи плотный малыш с радостным воплем:

— Папка! Папочка мой!

В дверях, умильно поджав губы, стояла тетя Глаша, одна из родственниц Валентины.

Он не устоял перед этим напором детской любви, не мог воспротивиться этой требовательности ответного чувства. Он накормил гостей всем тем, что нашлось в холодильнике и буфете. Мучился, вынужденный отвечать «да, да, да» на бесконечные вопросы ребенка: «Ты мой папа? Ты мой папуля?».

И в тот раз он отдал тете Глаше все деньги, которые нашлись в доме. Оторвал маленькие цепкие руки от лацканов своей пижамы и, опуская на пол ребенка, снова почувствовал нелепое «животное» волнение — так он называл про себя владевшую им странную, щемящую боль. Уходить мальчик не хотел. Заявил, что всегда будет жить тут, плакал, роняя крупные слезы. На худой конец потребовал пять пачек мороженого.

Давно это было. И уже несколько лет Алексей Васильевич не посылает Валентине деньги...

Картина тем временем кончилась. И была она ни о чем.

— Ах, все-таки они умеют! — рассуждала довольная Люда.

— Поверь мне, все это пустой орех.

— Нет, нет, Алеша! Ты земной человек. Чего-то иногда понять не можешь. Земной ты.

Они спустились в город, обласканный и покинутый нордом. Алексей охотно пошел бы на встречу с сумрачным массивным зданием своего университета, который стоял неподалеку на тихой серой улице. Но нельзя было оставить Люду. Она болезненно-ревниво относилась к его желанию вновь прикоснуться в этом городе хотя бы взглядом к тому, что когда-то составляло главный интерес и смысл его жизни.

— Алеша, — позвал его хрипловатый голос.

Под акацией стояла Валя с папиросой во рту.

— Извините, гражданка, — сказала она Люде, — у нас тут небольшой разговор. Долго не задержу.

Люда сорвалась с места как бешеная.

Он крикнул:

— Жди меня в конце улицы!

Она едва ли расслышала — помчалась, сопровождаемая прищуром зеленых глаз.

— Нервная. Я тебя здесь почему жду. Юрка хочет с тобой встретиться.

— Зачем это мне?

— Да не тебе, ему это нужно. Парню больше двадцати. Он Юрий Алексеевич Кузнецов. Твой сын. Так и знай.

— До сих пор не сказала?

— А что я должна сказать? — с жесткой усмешкой спросила она.

У Алексея Васильевича сжалось сердце. Он не мог набрать воздуха, вздохнуть, не мог ответить.

— Он тебя будет ждать завтра, в шесть вечера на бульваре. Там, где купальня была.

Алексей Васильевич молчал.

— Ну, а если хочешь знать про нашу жизнь, то мама умерла. А я еще раза три замуж выходила, так что живу лучше всех.

Она побежала по прежнему легко и быстро и по-прежнему вдруг сразу остановилась и снова порывисто ринулась к нему.

— Алеша, памятью мамы прошу! Она тебя любила. Не говори ему, сам знаешь по что...

Он стоял неподвижно. И Люда, которая чувствовала каждую его боль, торопливо подбежала к нему. Недаром она дважды возвращала его к жизни своим умением, заботами, любовью.

Голова ученого должна быть с утра свежей, готовой к предстоящей усидчивой работе. Поэтому Алексей Васильевич пресек все лишние разговоры.

— Я так и знала, что эта спекулянтка со своим ублюдком везде тебя найдет, — завела Людмила свою вечную песню. Но он обсуждения не допустил. Он и сам решил: довольно. Пора кончать.

Весь день Алексей Васильевич с удовольствием и плодотворно поработал и в библиотеке и в архиве. А когда вернулся в гостиницу, в номере, кроме Люды, его встретил старый друг, Веня-капитан. Они заранее списались о времени: нынче утром пароход Вени вернулся из Красноводска, а вечером уже должен был уйти в обратный рейс. Веня был из тех друзей, которые остаются с мальчишеских лет на всю жизнь, верный и храбрый.

За обедом они с Людмилкой хорошо его разделали, как, положим, он того и стоял.

— Мы еще тогда всей общагой его жалели и предупреждали. Кто же не знал Вальку? И потом — ну ладно, все мы делали ошибки, но тащить этот груз всю жизнь! Во имя чего? Что, у тебя семьи нет? Жены, дочери нет? Ты понимаешь, — убеждал Веня, — мы же совершенно не знаем, что этот тип из себя представляет. Завтра сядет на скамью подсудимых — за хулиганство, за воровство. Кого судят? Сына профессора Кузнецова! И ты будешь в какой-то мере отвечать. Где здесь логика?

— И совершенно Алеше незачем идти на это свидание. Он и так себя плохо чувствует.

Алексею Васильевичу было тоскливо от всех этих разговоров. Он уже несколько раз уверял и Люду и Веню, что знает, как ему нужно поступить. Для чего его убеждать? Теперь Юрий уже не ребенок.

Совершенно чужой взрослый человек. Да, деньги посылал — из жалости. И все кончено. Теперь же советы любимых людей только раздражали.

— Пойти я пойду, — твердо сказал он, — но скажу все, что надо. Поставлю точку. И хватит об этом!

...Бульвар тоже не остался прежним. Отодвинули парапет. Отошли вглубь акации и мимозы. Береговая аллея стала шире.

Алексей Васильевич издали увидел высокого плечистого парня и тут же узнал в нем молодого Вовку-боксера. Парень шел уверенно, присматривался внимательно и, по Валиной привычке, подойдя почти вплотную, рывком протянул руку.

— Здравствуй, отец.

Алексей Васильевич молча кивнул.

— Я тебя сразу узнал. Только ты вроде бы помельче сделался. Болел?

— Да, что-то было.

— Инфаркт, говорили. Он сейчас у всех — у молодых, у старых. Плюнь и забудь. Болезнь века. Присядем.

— Я лучше похожу.

— Походим. Нам без разницы.

Народу на бульваре почти не было. Маленькие волны торопливо догоняли друг друга и расплескивались, не достигая парапета. Длинная цепь огней, слабо дрожащая в еще светлом воздухе, уходила далеко на море.

Парень проследил его взгляд.

— Промысел в море. Трубили на всю республику. Я там работал.

— А сейчас где ты работаешь?

— Несущественно.

— Учишься? Я в твои годы...

— Закрываю тему! Эта формула «я в твои годы» запретная сейчас даже в пампасах и лампасах. То были твои годы, твои брюки «Мосшвейпрома», а сейчас мои годы и мои джинсы фирмы «Левис», которые, между прочим, стоят полтораста рэ. А моя зарплата в три цифры не входит.

Противный, жалкий разговор. Вот сейчас все сказать, повернуться и уйти.

— Так чего ты от меня хочешь?

Парень усмехнулся.

— Грóши, папочка, грóши. Кроме всего прочего.

— А что прочее?

— Ну, понимаешь, как-то обидно иной раз за свою судьбу. В чем моя вина? Твоя девчонка из другой твоей семьи, может, она и лучше меня. Я ее в глаза не видел. Живет со всех сторон обеспеченная, в институт устроенная, джинсов этих навалом, машина, дача, за советом есть к кому податься...

— У тебя мать, — неприязненно сказал Алексей Васильевич.

Парень посуровел.

— Матери моей касаться не будем. Это ты ее совсем молодую ребенком одарил и бросил. Оставил без образования, без средств. А ведь обещал: устроюсь, вызову. Мне теперь все известно!

Алексей Васильевич поднял руку, пытаясь остановить этот гневный поток.

— А потом от меня, от маленького, отшатнулся, не принял! Ты думаешь, я не помню? Ты думаешь, я тогда не понял? Я всегда понятливый был. Я от горя плакал, а ты мороженым откупился. И другие потом вроде тебя находились. Но меня она в обиду никому не давала! И все, что ребенку полагается, я имел благодаря ей.

Самое время было сказать. Сказать мягко, по возможности тактично: «Ты не мой сын, никаких обязанностей у меня по отношению к тебе нет и не было»...

Алексей Васильевич не мог произнести эти слова, скованный ненужной жалостью, ненужным состраданием к этому обиженному человеку.

Юрий вдруг легонько тронул его руку, и Алексей Васильевич снова ощутил странное, непонятное волнение.

— Ты скажи мне, скажи, почему ты от меня так отвернулся? Чем я тебе не показался? Ты думаешь, мне протекция нужна, поддержка? Конечно, нужна. Я не дурак, мог бы сейчас институт кончать, какой хотел... И почему бы тебе не помочь? Я ведь твой сын!

— Нет,— сдавленно сказал Алексей Васильевич. Он смотрел на угасающее море и больше всего боялся, что Юрий тронет его руку.

Юрий не понял его.

— Ну, нет, так нет. Ты перед законом чист. Деньги ты платил. И помощь твоя в общем-то сейчас мне не нужна. Я ведь тебя больше не люблю. Это я мальчишкой звал тебя по ночам и верил: вот дверь откроется, и папочка придет. Так что живи спокойно. Я к тебе больше не толкнусь. И мимо сестрички Леночки пройду по улице — не узнаю. А за что все-таки ты ее брата лишил? Я ей, может, когда и понадобился бы... Все же старший...

Он помолчал. Молчал и Алексей Васильевич.

— Ну, прощай, отец. Целоваться мы с тобой, конечно, не будем...

Тогда Алексей Васильевич вытащил бумажник и достал оттуда все деньги, которые у него были.

— Возьми.

Юрий заколебался, потом нерешительно протянул руку.

— Здесь много,— сказал он.

— Вери!

Долгим был обратный путь от бульвара до гостиницы. И немалая забота — где взять в этом чужом городе деньги на билеты, на оплату гостиничного номера. Венька уже, наверное, отплыл...

И что сказать Людмиле?

Вечер сгустился, и резкими четкими огнями обозначились нефтяные промыслы, уходящие в море.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Утренние тени	3
На картошке	14
Вечер в филармонии	30
Обман	38

Нора Георгиевна АДАМЯН

УТРЕННИЕ ТЕНИ

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 01.04.85. Подписано к печати 04.06.85. А 00362.
Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,14. Усл.
кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 1130. Зак. № 563.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

● Такие вклады принимаются от граждан в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Открытие счета в сберегательной кассе производится лично вкладчиком по предъявлении паспорта. В дальнейшем накопление средств производится в течение трех лет путем ежемесячных взносов, которые должны перечисляться в сберегательную кассу на счет по молодежному премиальному вкладу на основании заявлений вкладчиков бухгалтерией по месту их работы или учебы.

● Размер ежемесячного взноса — 10, 20, 30, 40 или 50 рублей — определяется вкладчиком. Взносы могут быть сделаны и наличными деньгами. Частичные выдачи сумм по этим вкладам не производятся.

● При соблюдении указанных условий по молодежным премиальным вкладам вкладчикам выплачивается доход из расчета 3,5% годовых, из которых 2% ежегодно присоединяются к остатку вклада, а 1,5% — выплачиваются в виде премии по вкладам, хранившимся не менее трех лет. При нарушении условий накопления и хранения этих сбережений доход выплачивается из расчета 2% годовых.

Правление Гострудсберкасс СССР